

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

Студенты. Инженеры



Николай Гарин-Михайловский
Студенты. Инженеры

«Public Domain»

1895, 1906

Гарин-Михайловский Н. Г.

Студенты. Инженеры / Н. Г. Гарин-Михайловский — «Public Domain», 1895, 1906

«— Один ксендз исповедовал одну молодую даму... Она призналась ему, что изменила мужу... Он прочел ей суровую нотацию... Кончив, он спросил ее: «Кто же ваш обольститель?» Она назвала имя его начальника. Тогда ксендз заговорил: «Лестно, лестно, это даже очень лестно...» Карташев заерзал на стуле, изображая ксендза...»

© Гарин-Михайловский Н. Г., 1895,
1906

© Public Domain, 1895, 1906

Содержание

Студенты	5
I	5
II	10
III	11
IV	12
V	20
VI	22
VII	25
VIII	26
IX	29
X	32
XI	34
XII	39
XIII	47
XIV	51
XV	63
XVI	72
XVII	74
XVIII	78
XIX	82
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Николай Гарин-Михайловский

Студенты. Инженеры

Студенты

I

– Один ксендз исповедовал одну молодую даму... Она призналась ему, что изменила мужу... Он прочел ей суровую нотацию... Кончив, он спросил ее: «Кто же ваш обольститель?» Она назвала имя его начальника. Тогда ксендз заговорил: «Лестно, лестно, это даже очень лестно...»

Карташев заерзал на стуле, изображая ксендза...

– Тёма?!

Действие происходило в деревне у Карташевых в столовой во время обеда. Мать Тёмы, Аглаида Васильевна, положив нож и вилку, смотрела на сына, но тот предпочитал в это время смотреть в раскрытое окно в сад, там, в саду, была тень и было солнце, было весело, как только может быть весело летом в деревенском саду, так же весело, как было теперь на душе Карташева, и мысль, что он успел-таки рассказать то, что вдруг подвернулось ему на язык, еще больше веселила его.

Корнев, гостивший опять у Карташевых, не мог удержаться от улыбки, глядя то на глуповато-довольное лицо приятеля, то на огорченно-строгое лицо его матери. Он улыбался, хотя в то же время и старался, чтоб Аглаида Васильевна не видела его улыбки и тем не рассердилась на сына еще больше. Наташа кончила есть свое жаркое и равнодушно-задумчиво смотрела пред собой. Ее лицо как бы говорило: не стоит обращать внимания на Тёмины глупости, а только жаль, что он с каждым днем делается все меньше похожим на того идеального Тёму, которого она так любила когда-то.

И Аглаида Васильевна, точно прочитав мысли Наташи, принимаясь за прерванную еду, заметила с горечью:

– Было время, я мечтала, что из моего сына выйдет Вальтер Скотт...

– А вышел просто скот, – ответил Карташев в тон матери и уныло-комично опустил голову.

Удержаться было нельзя: все рассмеялись, и даже Аглаида Васильевна, улыбнувшись, произнесла:

– Это только потому хорошо, что верно.

– Да, скотина порядочная, – сказал весело Корнев и сейчас же прибавил: – Прошу извинить за выражение... Такие господа, как Тёмка, невольно выводят из рамок приличий... Гм! Гм!

– Все вы хороши, – ответила Аглаида Васильевна. – Я часто думаю... Мне даже раз сон приснился: будто масса молодежи... и все такая прекрасная, и я говорю: «Господа, столько прекрасной молодежи, а где же хорошие люди?»

– Да, хороших людей мало, – согласился Корнев. Когда обед кончился и все встали, Корнев запел:

*Быстро молодость промчится.
Так не лучше ли пока
Жизнью вдоволь насладиться:*

Жизнь ужасно коротка.

- Это откуда? – поинтересовалась Аглаида Васильевна.
- Из «Прекрасной Елены», – предупредительно ответил Корнев.
- Аглаида Васильевна махнула только рукой и пошла к себе.

Это был последний обед перед отъездом из деревни сперва в город, а затем и в Петербург. Под вечер в последний раз собрались прокатиться в степь.

- Тёма, поедем верхом, – предложила Наташа.
- Я верхом не поеду, – решительно заявил Корнев.
- Я не вас и зову.
- Я согласен, – ответил Карташев.

Наташа поехала на своей Голубке, Карташев на Орлике.

– Хочешь, поедем в Криницы... – предложил брат. – Может, Одарку увидим... Как странно: Одарка замужем...

- Хорошо... Маму надо спросить...

Аглаида Васильевна разрешила, и брат с сестрой поехали в Криницы.

Солнце садилось. Орлик избалованно шел полурьсью, и Карташев, зная, что мать наблюдает за ним из экипажа, с красивой посадкой, рисуясь и маскируя это, лениво шурился в ту сторону, где сверкали пруды Криницы. Наташа, худенькая и грациозная, держала себя просто и естественно.

– Зачем ты все хочешь увидеть Одарку? Ты говорил, что она тебе больше не нравится? – спросила его сестра.

- А может быть, она мне опять понравится?
- А если бы понравилась, ты стал бы за ней ухаживать?
- Я не знаю... – ответил Карташев тоном, задевшим целомудренную Наташу.
- Ну, так поезжай один. – И Наташа повернула свою лошадь.

Карташев засмеялся.

- Ну, не буду.

Наташа остановила лошадь.

- Честное слово?
- Ну, какое тебе дело?
- Уеду.

- Ну, честное слово, – рассмеялся Карташев.

Наташа опять повернула свою лошадь в Криницы, и брат и сестра поехали рядом.

Залитая солнцем, уютно сверкала опрятная деревня. Точно туман или пыль от лучей подымалась над рекой и окутывала ее золотистой дымкой заката. Солнце спокойно исчезало за горой. Высокая перекладина колодца у въезда в деревню на широкой лужайке, равномерно поскрипывая, медленно поднималась и опускалась под усилием какой-то бабы.

- Вот Одарка! – показала вдруг на нее брату Наташа.

Карташев не сразу поверил. Эта неуклюжая, повязанная, загорелая дурнушка – Одарка? Но это была она.

- Одарка?! – воскликнул пораженный Карташев.

Одарка подняла сконфуженно свои все еще прекрасные глаза. Но вдруг, увидя по дороге пару волов и воз, она испуганно заговорила:

- Едьте, едьте, ради бога... Конон!
- Едем, Тёма, – строго приказала Наташа.

Они повернули своих лошадей и оба смущенные молча поехали назад мимо Конона, мужа Одарки. Карташев возмущенно отвел от него глаза.

– В один год всего что он с ней сделал...

Они долго ехали молча.

– Если б я знал, лучше бы не ездил. Одарка оставалась бы все такой же прекрасной... И дурак Конон воображает, что еще можно ухаживать за ней.

Наташа не сразу ответила.

– А душевная перемена еще тяжелее переживается, – рассеянно проговорила она.

С своей обычной болезненной гримасой она посмотрела вперед и опять замолчала.

– Ты на мою перемену намекаешь? – спросил уже серьезно задетый вдруг Карташев.

– Это нечаянно само собой вышло... да. Не только на твою... у вас всех перемена...

Брат напряженно сдвинул брови и искал ответа.

– Нет... если серьезно говорить, то ведь это только поверхностно... Ну, подразнить, что ли, иногда захочется...

– Нет, Тёма... громадная перемена.

Карташев пожал плечами.

– Может... – И, вздохнув, он прибавил: – А нехорошая штука жизнь – портит людей.

Наташе еще тяжелее стало от слов брата. Она выпрямилась, точно хотела сбросить с себя эту тяжесть, и энергично проговорила:

– Нет, это пройдет... Ты опять будешь такой же идеальный... Но!

Она подняла свою лошадь в галоп, Карташев тоже поскакал с ней рядом и все думал о том, – действительно ли он переменился и в чем было то идеальное, чего теперь нет в нем, конечно.

Наступал вечер, в степи где-то замирала песня. Воздух звенел от кузнечиков, стрекотавших без умолку где-то близко по обеим сторонам пыльной дороги. По временам вдруг выше поднималась песня и звонко неслась по степи. Звонкий голос парубка пел:

*Нехай кажуть, нехай кажуть,
Мусят перестаты,
Як уйду я на Україну
Іншюю шукаты.*

Да, да, думал Карташев, и он уедет в Петербург, и прощай все прошлое... то далекое, милое...

Затихла песня, степь замерла в неподвижном очаровании вечера, сердце больно и сладко сжималось о миллом далеком прошлом и так рвалось к нему...

Они молча доехали до усадьбы. Карташев как-то особенно любил в эти минуты свою сестру.

Он помог ей соскочить у подъезда с седла, и когда она встала на землю, он обнял ее и горячо поцеловал. Наташа тоже быстро, горячо поцеловала брата и с манерой матери, махнув рукой, быстро смущенно прошла в дом.

Карташев же, передав лошадей Грицько, пошел в сад и, гуляя по аллее взад и вперед, все думал о том, что он теперь большой уже. Через месяц он уедет в Петербург и будет жить новой, совсем новой, особенной жизнью. Там он будет другим человеком. Он станет серьезным, будет заниматься, будет ученым, – новый мир откроется перед ним, захватит его своим интересом, и забудется он в нем и потеряет все то, что пошлит людей, что берет верх над духовным только в пустой, бессодержательной жизни.

Карташев ходил, жадно и энергично вдыхал в себя ночной аромат старого сада, и когда его окрикнул с террасы Корнев, он весело и возбужденно ответил:

– Иду!

Из мягкой темноты он попал в яркую столовую, где сидели за чаем все и смотрели на него – Наташа, ласковая и повеселевшая, добродушный Корнев, мать, Маня. И все казались ему и оживленными и жизнерадостными, и он с наслаждением принял свой стакан чая, пил его и все думал о Петербурге, а когда кончил чай, подошел к матери и горячо поцеловал ей руку. Он был скуп на ласки и, как отец его, несообщителен на чувства, и этот поцелуй и удовлетворение его души передались матери и всем. Вечер прошел незаметно, все были в духе, в том настроении, когда все кажется таким уютным, когда так хорошо поются, в знакомой налаженной обстановке, грустные малороссийские песни. И Корнев с Маней их пели, а Карташев с матерью сидели на террасе. Аглаида Васильевна говорила сыну:

– Ты у меня умный, и добрый, и хороший, Тёма, и я не сомневаюсь, что господь благословит твою жизнь... Но, милый Тёма, поверь ты мне... Я много видела в жизни, и кому же, как не тебе, передать мне свой опыт? Помни, Тёма, что единственная опасность, которая грозит тебе, – это если увлечешься в Петербурге и попадешь в те кружки, откуда выход на эшафот, в каторгу...

– Мама!

– Все, Тёма, погибнет тогда... все! и ты и твоя семья, для которой ты радость жизни превратишь в тяжелое горе... такое горе, которого не выдержу я, Тёма.

Аглаида Васильевна, взяв руками голову сына, поцеловала его горячо в лоб. Разговор продолжался, но уже о молодых – Зинаиде Николаевне и Неручеве. У них не все шло так гладко, как хотелось Аглаиде Васильевне, и она жаловалась на Неручева.

В последний раз на другой день утром обходили Корнев, Наташа и Карташев сад, заглядывали в конюшню, прощались с лошадьми. Корнев смотрел на все равнодушно, как на что-то уже чужое для него, оторванное, к чему он не возвратится больше никогда. Там ждала другая жизнь, там в ней большая или маленькая, но его доля, и интересно было увидеть скорей эту свою долю.

Наташа была равнодушна, сдержанна и как будто рассеянна. Корнев иногда пылливо оставив взгляд, иногда по лицу его пробегало сомнение, но чаще он говорил себе: «Ерунда», – и старался держаться непринужденно, как человек, который и в мыслях не держит посягать на что-либо. Наташа же только видела его желание подчеркнуть это и всем своим образом действий как бы отвечала: но ведь и я не ищу ничего. И когда им удавалось убедить в этом друг друга, они оба еще более становились спокойными, равнодушными и скучными.

– Спойте на прощанье, – обратилась Наташа к Корневу, когда они возвратились в дом.

– Нет, не хочется... Надоело... Надоело все.

– Ну, вот уж скоро, скоро в Петербург, – ответила Наташа с своей обычной гримасой.

– Что ж Петербург? Я и от него ничего не жду. Высылать мне будут тридцать рублей в месяц, при таких деньгах не разживешься. Комнатка где-нибудь на пятом этаже да лекции... в театр и то не на что будет ходить.

– Уроки будете давать.

– Какие уроки? Нашего брата там, как сельдей в бочке.

– Но другие же дают.

– Дают, кому бабушка ворожит.

– Дают, кто брать умеет.

– Ну, кто брать умеет, – желчно и едко согласился Корнев, – а нам куда? Мы люди маленькие... уже подрезанные, готовые.

– Не говорите же так...

– Отчего не говорить? Истина тяжела, но еще тяжелее отсутствие сознания этой истины, Наталья Николаевна... Нет, уж лучше знать...

– Да ведь откуда вы знаете?

– Э-э! Знаю... Чувствую-с...

II

Карташевы приехали в город, и текущие интересы дня поглотили все их внимание. Карташева обшивали с ног до головы, как на свадьбу. Шили ему белье, платье, пальто, шубу. В пиджаке он будет ходить на лекции, в сюртуке в театр, к знакомым. Необходимо перчатки и *rinse-pez*. Перчатки он купил, но *rinse-pez* не решился и мечтал только о нем. Там, в Петербурге, он его купит. Он остригся, потому что при примерке нового платья все было новое, кроме старых волн его густых, не желавших держаться аккуратно, русых волос. Так как он требовал от портных, чтоб те шили как можно уже в талии, то платья его смахивали в конце концов на платье с младшего брата. Сам Карташев, впрочем, этого не замечал – его стягивало, как в корсете, он этого только и желал. Ему показались рукава длинными: недостаточно виднелись из-под них манжеты – ему обрезали и рукава.

Наконец все было готово: и платье, и белье, и шуба, и башлык, и даже кожаные калоши. Непременно кожаные. Человек хорошего тона не наденет резиновых. Груда вещей занимала кабинет, лежала на стульях, столах, и Карташев в избытке чувства сам ложился тут же на диван, поверх какого-нибудь нового сюртука, положив ноги на новые штаны, и в каких-то волнах без образов плавал в своем удовлетворенном через край чувстве.

В новом платье он ходил к знакомым и жалел, что нельзя сразу все надеть: все платье, и шубу, и башлык, и калоши. О последних и речи не могло быть в конце июля – и в одном черном сюртуке была невыносимая духота. Но тем не менее как-то вечером, перед самым отъездом, провожая одну из Наташиных подруг, Горенко, Карташев под предлогом прохладной ночи (ночь была удушливее дня) надел и пальто и калоши. Хотел даже надеть и башлык и барашковую шапку, потому что в зеркале он так нравился себе в этой шапке.

– Вам не жарко? – спросила его участливо Горенко.

– Нет, – ответил серьезно и озабоченно Карташев, – у меня маленькая лихорадка, – и, чтобы быть вполне естественным, он даже засунул свои руки в перчатках в рукава своего пальто.

Горенко жила далеко, ночь была лунная, улицы пустынные, щелканье калош оглашало далеко кругом неподвижный воздух и доставляло их владельцу порядочное-таки неудобство.

Когда они подошли к дому, где жила Горенко, Карташев позвонил, и они ждали, пока им отворят.

– Нет, вы сегодня неразговорчивы, – усмехнулась Горенко.

– Я вам говорю, что у меня лихорадка.

По двору раздались шаги дворника.

– Ну, желаю вам всего лучшего. Я все-таки хочу верить, что не ошиблась в вас... У кого есть такая сестра, как Наташа...

Горенко говорила с своей обычной манерой думать вслух.

– Прощайте...

Она быстро пожала руку Карташева и скрылась прежде, чем закутанный Карташев сообразил что-нибудь.

Возвращение домой на этот раз было невеселое. Он всегда был уверен, что в глазах Горенко стоит на высоте. Ее последние слова одним взмахом сшибли его с подмостков... Теплое пальто давило плечи, калоши, утихшие было, стали снова отбивать такой назойливый такт, что Карташев с воплем: «А, будьте вы прокляты!» – вдруг махнул сперва одной ногой, затем другой, и калоши улетели и где-то далеко посреди улицы шлепнулись одна за другой. Но калоши все-таки представляли из себя капитал, и Карташев, удовлетворив свой гнев, отправился на розыски, нашел их и, держа их в руках, пошел дальше.

III

Завтра отъезд... Завтра все это исчезнет, и совсем другая обстановка уже будет окружать его, Карташева. Эта теперешняя никогда уже не возвратится. Приезд на каникулы будет только временным пребыванием в гостях, но своя жизнь будет уже не здесь – пойдет отдельно и так до конца. Все счета таким образом сведены с этой жизнью – с гимназией, матерью, семьей. Все, что пошлою жизнью, что делало ее будничной, теперь уж позади. Теперь это только близкие люди, которые ничего не жалели и не жалеют, чтоб дать все, что могут. Карташев в первый раз заметил, что мать его постарела и как будто стала меньше... Она нервно, озабоченно возилась около его вещей, старалась не смотреть на него и боролась с собою. Он видел это, видел, как все-таки тяжело ей был его отъезд, и несколько раз его тянуло обнять мать, расцеловать, обласкать. Прежде его ласкали, а теперь ждали его ласки. И он знал, что для матери его ласка была бы большим утешением, была бы счастьем. И тем не менее он не мог себя заставить быть нежным и ласковым, не мог вырваться из какого-то прозаического настроения. Что-то мешало. Конечно, не то доброе чувство, которое теперь в нем было, а скорее – страх, что иллюзия этого чувства разлетится, когда он исполнит свое желание. Может быть, этого чувства хватило бы только, чтобы сделать первый шаг, а затем он остался бы лицом к лицу с той матерью, перед которой стоял, когда удалили из дома Таню, когда его высылали вон, когда насильствовали его волю, когда к такой пошлой прозе сводились его порывы... Боже сохрани, он не хотел ничего помнить, не хотел ни в чем упрекать, он любил всей душой, но след, след оставался, и как тяжело экипажу свернуть с наезженной глубокой колеи, так было трудно вырвать что-то из сердца, что не зависело больше от Карташева. И мать это как-то инстинктивно чувствовала и, ничего не требуя, испытывала в то же время неприятное раздражение.

Доставалось Наташе, горничной, но с сыном она была только озабочена и при нем больше обращала внимания на его вещи, чем на него.

Пришел Корнев прощаться, тоже в новом костюме, задумчивый и сосредоточенный. Он сидел, грыз ногти, отвечал односложно.

– Ну-с... – проговорил он и с неестественной улыбкой поднялся.

И в ту же минуту и он и все поняли, что пришло время расстаться, а с разлукой пришла и новая жизнь. Это стоял уже не мальчик, не гимназист Корнев, – это стоял молодой человек в черном сюртуке. Его лицо побледнело и по обыкновению, как то бывало с ним в минуты сильного волнения, слегка перекошилось.

– Ничего не поделаешь... надо прощаться...

Голос его хотел быть шутливым, но дрожал от волнения. Наташа стояла перед ним бледная, большие глаза ее почернели еще, и она точно испуганно смотрела в него, как бы стараясь вдруг вспомнить то, что все время до этого мгновенья вертелось у ней в голове.

– Вот как время летит, Наталья Николаевна, а впереди что?

Он на одно мгновенье пыгливо, напряженно заглянул ей в глаза.

Наташа все продолжала во все глаза смотреть на Корнева и вряд ли сознавала что-нибудь, когда пожала ему руку.

Корнев вышел в переднюю, надел пальто, вышел на подъезд, перешел улицу, а Наташа бессознательно подошла к окошку и смотрела ему вслед. Корнев вдруг повернулся, точно какая-то сила толкнула его, и, увидев Наташу, сорвал свою шляпу и несколько раз низко и быстро поклонился. Это был прежний гимназист Корнев в засаленном пиджаке там в деревне, и глаза Наташи вдруг засияли волшебными огоньками.

IV

И день отъезда настал. Уезжали: Корнев, Карташев, Ларио, Дарсье и Шацкий.

Шацкий, несмотря на то, что познакомился очень недавно со всей компанией, уже сумел вызвать к себе общее нерасположение. Он, собственно, не был учеником гимназии и держал со всеми только выпускной экзамен. Он был то, что называется экстерн, или футурус. Выдержал Шацкий экзамен хорошо, но крайней эксцентричностью своих манер поражал и часто возмущал всех. Более других возмущался Корнев, не могший выносить этой высокой, развинченной фигуры, всегда в невозможном по безвкусию costume, с претензией на какой-то шик, которого не только у него не было, но, напротив, все было карикатурно и уродливо до непозволительности. Ко всему Шацкий как-то без смысла и цели лгал: сегодня он граф, завтра князь, а в то же время все знали, что его родня занимается в городе торговлей.

Поезд отходил в семь часов вечера. Первым приехал на вокзал Шацкий, одетый в полосатый костюм в обтяжку, долженствовавший изображать англичанина.

Худой, высокий, с маленькой рысью физиономией, с вечно бегающими глазками и карикатурно длинными руками и ногами, Шацкий, безобразно ломаясь, быстро ходил взад и вперед, что-то без голоса, фальшиво напевая себе под нос. Иногда он вдруг останавливался, широко расставляя свои длинные ноги, вытягивал свою рысью голову, усиленно мигал, точно соображал что-то, и затем, весело щелкнув пальцами перед своим носом, еще карикатурнее раскачиваясь и чуть не выкрикивая какой-то дикий, бессмысленный мотив, продолжал свою беготню по платформе.

В дверях показались Корнев и Ларио.

– Здесь уже? – брезгливо проговорил Корнев, увидев Шацкого. – Готов пари держать, что его все принимают за идиота.

Ларио, широкоплечий, коренастый, с круглым румяным лицом, с большими близорукими карими глазами, бойкий только в своей компании и очень конфузливый в обществе, в ответ на слова Корнева прищурился, оглянул платформу и поспешно произнес:

– Послушай, сядем вот в том уголке.

Усевшись на зеленую скамейку подальше от публики, Ларио на мгновение почувствовал себя удовлетворенным, но вскоре опять заерзал.

– Рано приехали... – сказал он, прищурившись.

Помолчав еще, он с напускной бойкостью спросил Корнева:

– А что, Вася, как насчет пивка?

– Пивка так пивка, – ответил Корнев.

– Молодец, – вдруг оживился Ларио, – люблю таких. Гарсон, пару пива! Терпеть я, Вася, не могу всякого этакого собрания.

– А я вот терпеть не могу таких, как этот Шацкий.

Шацкий, не обращая внимания на товарищей, продолжал бегать взад и вперед.

– Ну, что ты против него имеешь? В сущности, ей-богу, он ничего себе.

– Ты думаешь? – спросил Корнев, принявшись за свои ногти. – Послушайте, вы, – примирительно окликнул он Шацкого, – подите сюда.

Шацкий, засунув руки в карманы своей английской куртки, подошел к сидевшим и, широко расставив длинные ноги, уставился в Корнева, стараясь замаскировать некоторое смущение пренебрежительным выражением лица.

– Ну, одним словом, настоящий англичанин, – сказал пренебрежительно Корнев. – Вы сегодня кто: граф, князь, барон?

Шацкий рассмеялся, но, сейчас же скорчив серьезную физиономию, церемонно ответил:

– Маркиз, вы слишком любезны...

– А вы, князь, шут гороховый... то бишь, я хотел вам предложить один вопрос: приедет ли ваша пышная родня вас провожать сегодня?

– Нет, лорд, я уезжаю инкогнито.

– Это значит, что вы все-таки не добились разрешения на ваш отъезд. Откуда же вы в таком случае достали денег? Мне страшно подумать, князь: неужели вы решились на преступление и, говоря грубым жаргоном обитателей тюрьмы, попросту украли у вашего батюшки деньги?

– Лорд, что за выражения, – рассмеялся Шацкий, – за кого вы меня принимаете?

– В таком случае я ничего не понимаю...

– Да вы еще меньше, мой друг, поймете, если я вам скажу, что у меня в кармане тысяча рублей и я чист, как слеза.

Шацкий щелкнул пальцами и перекрутился на одной ноге.

– Во-первых, я вам не друг, а во-вторых, князь, позвольте по поводу последнего пункта остаться при особом мнении...

– В таком случае я не могу больше продолжать с вами беседу и потому...

Шацкий снял свою английскую фуражку.

– Можете убираться ко всем чертям, барон.

– Вы начинаете сердиться – это к вам не идет, – ответил Шацкий уже издали.

– Как все-таки досадно, что мы связались с ним, – проговорил Корнев, – он нам всю дорогу испортит.

– Ну черт с ним, – ответил Ларио, – давай раздавим еще по кружечке.

И Ларио с чувством прижал ногу к столу.

– Да ведь так мы с тобой налижемся, пожалуй.

– От пары пива? Хо-хо-хо! Как ты глуп еще, Вася! Человек, пару!

Еще выпили пару.

Ларио, по мере того как пил, делался все оживленнее, а Корнев как-то все больше и больше слабел.

– Нет, я больше не буду, – уперся Корнев после третьей кружки. – У меня голова слабая, я не могу. Ты пей, а я посижу.

– Вася, не выдавай!

– Оставь!

– Вася, будь друг! Ты ведь еще мальчишка, а я в Питере уже был и, как свои пять пальцев, знаю... приедем – все покажу. Вася, голубчик, выпей, уважь, будь друг.

Корнев блаженно улыбался и наконец как-то отчаянно махнул рукой.

– Вася, друг! понимаешь, друг! Мальчик, два пива!

– Я боюсь только, – ответил Корнев, – что ты, Петя, скандал в конце концов сделаешь.

– Я, скандал? Я?!

И Ларио с чувством и упреком уставился в Корнева.

– Вася?! Ты мой лучший друг. За кого ж ты меня принимаешь? Видишь эту вот кружку, – больше ни-ни! Понимаешь, Вася? Эх, Вася, ведь ты думаешь, я пью для удовольствия – нет! Для куражу пью. Робкий я, Вася! Как народ – так, кажется, сейчас бы сквозь землю провалился, – не знаю, куда руки, куда ноги девать, а как выпьешь, и ничего, – ходишь себе, точно никого нет. Вот и сегодня – народу много приедет, ну, я и подбадриваюсь.

– Не перебодрись только.

– Небось я знаю себя. Я, Вася, все знаю, все вижу, только скромность моя, Вася... Вот, Вася, хоть тебя взять. Думаешь, не вижу? А Наташа Карташева?

– Что Наташа? – спросил, стараясь придать себе равнодушный вид, Корнев. – Тебе понравилась?

– Вася, не финти, мне наплевать на Наташу, а вот твое рыльце в пушку. Подлец, Вася: краснеешь, врешь, меня не надуешь.

И Ларио залился громким, каким-то неестественным смехом.

– Вот ты говорил, что не захмелеешь...

– Врешь, врешь, я не захмелел. Только ты брось всех этих порядочных, Вася, – все они ломаки. Нет в них наивной простоты, и страсть, страсть их пугает. Пугает! Понимаешь?

– Послушай, на нас смотрят.

– Начхать! Слушай, Вася! Я тебя познакомлю в Питере со швейками. Я, Вася, больших не люблю. Я люблю маленьких. Эх, Вася, ненасытный я!.. Я тигра лютаю, Вася... я крови хочу!!

И Ларио вдруг зарычал на всю платформу.

– Послушай?!

Входившие мать Корнева, сестра его, Семенов и Долба искали глазами Корнева.

Семенов и Долба приехали проводить.

Долба и Вервицкий оставались в одном из южных университетов.

– Вот он!

Когда все подошли, Маня Корнева сказала брату:

– Вася, как тебе не стыдно! Маменька, посмотрите.

Она показала на кружки пива.

– Васенька, миленький мой, – произнесла как-то автоматически мать Корнева. – Как же тебе не стыдно?

Корнев смущенно махнул рукой.

– Ну, что вы, маменька, в чем тут стыд, какой тут стыд? Ну, выпили кружку пива, ну, что ж тут такого?

– Как же так, Вася, ты молодой человек, у тебя сестра на возрасте.

– Ну и слава богу, – перебил ее Корнев, – вот я сейчас заплачу, и пойдем.

– Нет, я плачу, – перебил его Ларио.

– Ну, черт с тобой, плати ты.

– Ах, Васенька, опять ты эти слова!

– Полноте, маменька, все это пустяки. Слова как слова. Это вот дворянам надо слова разбирать, потому что они дворяне, а мы с вами, маменька, люди маленькие.

– Маленькие, сыночек, маленькие... Васенька! Только зачем же ты все-таки это пиво пьешь – нет в нем добра, Вася. Ох, ножки мои, ножки, совсем не могу стоять – посади меня, Васенька!

И старушка Корнева тяжело опустилась на скамью.

Приехали наконец и Карташевы: Аглаида Васильевна, Наташа, Тёма и брат Аглаиды Васильевны, высокий господин с большим добрым рябым лицом. Аглаида Васильевна выписала брата из его маленького имения с тем, чтобы он поселился у нее и вел ее дела. Он приехал как раз в тот день, когда уезжал Карташев. Он говорил сестре «вы» и был в полной от нее зависимости.

– Я не перевариваю, – сказал Корнев, – Карташева возле матери: она вьет из него веревки.

– А Наташу перевариваешь? – спросила сестра.

– Ну, Наташа, – кивнул головой Корнев. – Он в подметки не годится своей сестре. Она цельная натура. Впрочем, и он отличный парень, и я люблю его от души.

Корнев благодушно махнул рукой.

– Но только чувствую...

– А вы не чувствуете, Васенька, что от вас, как из пивного бочонка, несет пивом?.. – спросила сестра.

– Это не вашего ума дело, – ответил ей брат. – Вы вот слушайте, что вам говорят, и ладно будет.

- Ах, Вася, не обижай сестру на прощанье.
 - Маменька, ее никто не обижает, она сама всякого обидит...
 - Послушайте, Семенов, уведите его и приведите в чувство, а то он что-нибудь выкинет перед Карташевыми, – обратилась Маня к Семенову.
 - Ерунда, – ответил уверенно Корнев.
 - Ничего не выкинет, – авторитетно сказал и Семенов, – вот разве два три зернышка жженого кофе, чтоб дух отшибить.
 - Ладно и так, – пренебрежительно ответил Корнев.
- Подошло семейство Карташевых, и все начали между собой здороваться.
- А где же Ларио? – спросила Наташа.
- Маня Корнева насмешливо посмотрела на брата.
- Ну, что же ты молчишь? Где Ларио?
 - Ларио? Он скрылся. Знай, несчастная, что он ненавидит таких, как ты.
- И Корнев запел выразительным и верным голосом:

Нас венчали не в церкви...

- Ничего не понимаю.
- И не надо тебе понимать.
- Противный!

- Семенов забил тревогу о том, что надо вспрыснуть отъезд.
- Незаметно компания оставила платформу и скрылась под навесом буфета. Когда налили всем по рюмке водки, Долба, тряхнув волосами, произнес:
- Ну, за отъезжающих... Дай же боже, щоб наше теля да вивков сьило.
- Выпили.
- Наливайте еще за остающихся, – предложил Семенов.
- Карташев, не любивший водки, отказался:
- Нет, я больше не буду.
 - Что? мама? – спросил его вызывающе Ларио.
 - Дурак, – ответил Карташев и залпом выпил другую рюмку.
- Водка обожгла ему горло, и он несколько мгновений стоял, будучи не в силах произнести что-нибудь.
- Скажи: мама! – посоветовал ему Ларио, вызвав общий хохот.
- Карташев в ответ хлопнул его по спине и проговорил наконец:
- Черт меня побери – я передумал поступать на математический, потому что все равно срежусь.
 - Инженер путей сообщения, значит, тю-тю?! Куда ж? Неужели на юридический? – весело поразился Корнев.
 - Угадал!
 - О-о! Легкомыслие!
 - Водки! – решил по этому поводу Ларио.
 - В таком случае, – вмешался вдруг Шацкий, – я тоже на юридический поступаю, а не в институт путей сообщения.
 - Вот это хорошо, – быстро ответил Корнев, – вас там только недоставало! Первая умная вещь, которую от вас слышу. Согласен даже еще выпить по поводу такого счастливого случая.
- После четвертой рюмки Корнев, порядочно охмелевший, сказал:
- Ну, пьяницы, довольно, пошли все вон назад.

Когда они вернулись на платформу, Корнева встретила глазами с Карташевым... Он, под влиянием выпитой водки, особенно нежно взглянул на нее.

– Карташев, подите сюда, – подозвала его Корнева.

Они пошли по платформе.

Аглаида Васильевна, собравшаяся было что-то сказать сыну, только махнула рукой и, обратившись к брату, заметила:

– И не слушает даже! Посади меня где-нибудь.

Брат подвел сестру к скамейке, стоявшей в стороне, и проговорил, усаживаясь рядом:

– Да уж, сестра, такой возраст, что на всякую юбку променяет нас.

– Ни на кого он меня не променяет, – сказала, помолчав, Аглаида Васильевна, – он любящий, добрый мальчик.

– Так-то так, да года-то его не любящие.

– Глупости говоришь ты, – ответила Карташева, – если уж хочешь знать, могу тебе сообщить характер их отношений: он поверенный в ее любви к Рыльскому.

Аглаида Васильевна бросила насмешливый взгляд на брата.

– Сам признался мне. Совершенный еще ребенок, – усмехнулась Карташева. – Рассказывает мне, как он стал ее поверенным...

– Разиня какой...

Аглаида Васильевна, видимо, не рассчитывала на такой эффект и вызывающим голосом спросила:

– Почему разиня?

– Помилуйте, сестра, в его годы...

– Ну, вот опять его годы!.. только что ты говорил, что в его годы он меня с тобой променяет на всякую юбку, а теперь... Дело не в годах здесь, а в воспитании.

И Аглаида Васильевна с некоторой пренебрежительностью отвернулась от брата и стала искать глазами сына.

– Послушайте, Карташев, – говорила между тем Корнева, – я замечаю, что с тех пор, как... Ну, одним словом, с тех пор... вы помните... вы совсем переменяете со мной обращение. Я хочу знать, почему это? Если в ваших глазах я пала...

– Бог с вами, что вы говорите, – горячо заговорил Карташев. – Я был бы негодяем, если бы, узнав так доверчиво открытую мне тайну, вдруг позволил бы себе... Да, наконец, что тут дурного? Поверьте, что всякий на его месте только...

Карташев замолчал.

– Что только?

Сердце Карташева замерло от вдруг охватившего его чувства.

– Послушайте, – сказал он решительно, – мы сейчас уезжаем. Неужели вы никогда не догадывались, что я был в вас, как сумасшедший, влюблен?

– Вы?! А теперь?

Карташев поднял на нее свои глаза.

– Н... да... послушайте... – растерялась Корнева, – что я вам хотела сказать?

Горячая волна крови прилила к ее лицу.

Они оба молчали и стояли друг против друга. Карташев испытывал какое-то совершенно особенное опьянение.

– Как хотите, сестра, но с таким лицом не поверяют и не принимают поверяемых тайн, – лукаво произнес брат Аглаиды Васильевны.

Мать сама давно заметила что-то особенное и теперь громко и строго позвала сына:

– Тёма, мне надо с тобой поговорить.

Карташев в последний раз посмотрел на Корневу. Все вихрем закружилось перед ним, и, не помня себя, он прошептал:

– Да, я люблю вас и теперь!

Взволнованный подошел он к матери.

Карташева встала и недовольно сказала сыну:

– Ты мог бы и раньше переговорить с посторонними (на этом слове она сделала особое ударение), а последние минуты можно, кажется, и с матерью побыть... Пойдем со мной.

Сын пошел рядом с нею. Они ходили по платформе, ему что-то говорила мать, но он ничего не слышал, ничего не видел, или, лучше сказать – видел, слышал и чувствовал только одну Корневу, ее голубенькое в мелких клетках платье, ее жгучие глаза. По временам от избытка чувства он поднимал голову, смотрел в ясное небо, вдыхал в себя нежный аромат начинающегося вечера, влюбленными глазами следил за проходившей по временам Корневой, и все это было так ярко, так сильно, так свежо, так не похоже на то настроение, которого желала и требовала мать от уезжавшего в первый раз от нее сына.

– Ты на прощанье стал совершенно невозможным человеком. Ты ничего не слушаешь, что я тебе говорю. Скажи, пожалуйста, что она с тобой сделала?!

– Ничего не сделала, – угрюмо ответил Карташев.

– Ты пьян?!

– Ну, вот и пьян, – растерянно сказал Карташев.

Аглаида Васильевна, как ужаленная, отошла от сына. Она была потрясена. Она всю себя отдала детям, она делила с ними их радости и горе, она только и жила ими, волнуясь, страдая, переживая с ними все до последней мелочи. Сколько горя, сколько муки перенесла она, работая над сыном. И что ж? Когда она считала, что работа ее почти окончена, что вложенное прочно и надежно, что же видит она? Что первая подвернувшаяся пустая девчонка и кутилы товарищи сразу делают с ее сыном так же, как и она, все, что хотят. Уверенная в себе, она точно потеряла вдруг почву. Слезы подступили к ее глазам.

«Я, кажется, делаю крупную ошибку, – я рано, слишком рано отпускаю его на волю», – подумала она.

А Карташев, отойдя от матери, со страхом думал о том, чтобы скорее был звонок – поскорее уехать. Он боялся, что мать вдруг возьмет и оставит его. Он вдруг как-то сразу почувствовал весь гнет опеки матери, и ему казалось, что больше переносить этой опеки он не мог бы. Даже Корнева, если б он остался, не утешила бы его. Напротив, ради нее он хотел бы еще скорее уехать. Это признание, которое так неожиданно вырвалось, которое так сладко обожгло его, начинало уже вызывать в нем и к ней и к себе какое-то неприятное чувство сознания, что они оба точно украли что-то такое, что уж ни ей, ни ему не принадлежит. Карташев вслед за другими угрюмо подошел к кассе и лихорадочно ждал своей очереди. Но вот и билет в руках. Сдан и багаж. Уж везут его сундук на тележке.

Сомнения больше нет: он едет!

Через несколько минут все это уж будет назади. Перед ним жизнь, свет, бесконечный простор!

Он тревожно искал глазами мать.

Взгляд его упал на ее одинокую затертую фигурку. Она стояла, облокотившись о решетку, ничего перед собою не видя; слезы одна за другой капали по ее щекам. А у нее что впереди?!

Карташев стремительно бросился к ней.

– Мама! Милая мама... дорогая моя мама...

Слезы душат его, он целует ее голову, лицо, руки, а мать отворачивается и наконец вся любящая – рыдает на груди своего сына. Все стараются не замечать этой бурной сцены между сыном и матерью, всегда такой сдержанной. Аглаида Васильевна уже вытирает слезы; Карташев старается незаметно вытереть свои. Слабый, как стон, уже несется удар первого звонка, и уже раздается голос кондуктора:

– Кто едет, пожалуйста в вагоны.

Толпа валит в вагоны.

– Сюда, сюда! – кричит Долба.

Нагруженная, за ним бежит подвыпившая компания, бурно врывается в вагон, и из открытых окон вагона уже несется звонкое и веселое «ура!».

Жандарм спешит к вагону и, столкнувшись в дверях с Шацким, набрасывается на него:

– Господин, кричать нельзя!

– Мой друг, – отвечает ему снисходительно Шацкий, – ты не ошибешься, если будешь говорить мне: ваша светлость!

Фигура и слова Шацкого производят на жандарма такое ошеломляющее впечатление, что тот молча, заглянув в вагон, уходит. Встревоженные лица родных успокаиваются, и чрез несколько мгновений отъезжающие опять возле своих родных и над ними острят.

– Вот отлично бы было, – говорит Наташа, – если бы жандарм арестовал вас всех вдруг.

– Что ж, остались бы, – говорит Корнев, – что до меня, я бы был рад.

Он вызывающе смотрит на Наташу, и оба краснеют.

– Смотрите, смотрите, – кричит Маня Корнева, – Вася краснеет! первый раз в жизни вижу... ха-ха!

Все смеются.

– Деточки мои милые, какие ж вы все молоденькие, да худые, да как же мне вас всех жалко! – И старушка Корнева, рыдая, трясет головой, уткнувшись в платок.

– Маменька, оставьте, – тихо успокаивает дочь, – смотрят все.

– Ну и пусть смотрят, – горячо не выдерживает Корнев, – не ругается ж она!

– Голубчик ты мой ласковый, – бросается ему на шею мать.

– Ну, мама, ну... бог с вами: какой я ласковый, – грубиянил я вам немало.

Второй звонок замирает тоскливо.

Начинается быстрое, лихорадочное прощанье. Аглаида Васильевна крестит, целует сына, смотрит на него, опять крестит, захватывает воздух, крестит себя, опять сына, опять целует и опять смотрит и смотрит в самую глубину его глаз.

– Мама, мама... милая... дорогая, – как маленькую, ласкает и целует ее сын и тоже заглядывает ей в глаза, а она серьезна, в лице тревога и в то же время крепкая сила в глазах, но точно не видит она уж в это мгновение никого пред собой и так хочет увидеть. Она судорожно, нерешительно и бесконечно нежно еще и еще раз гладит рукой по щеке сына и растерянно все смотрит ему в глаза.

У Карташева мелькает в лице какой-то испуг. Аглаида Васильевна точно приходит в себя и уже своим обычным голосом ласково и твердо говорит сыну:

– Довольно... я довольна: ты любишь... Бог не оставит тебя... Иди, иди, садись...

Вот они все уж в окнах вагона и опять точно забыли, что чрез минуту-другую тронется поезд.

В толпе провожающих быстро мелькает цилиндр Дарсье.

– Дарсье, Дарсье!

Все, возбужденные, высовываются из окон.

– Едешь?!

– Еду, но без разрешения: сорок рублей всего в кармане!

– Уррра... а-а-а!!! – залпом вылетает из всех окон вагона.

Жандарм опять спешит с другого конца.

– А багаж?

– Ничего!

– У-ррр-а-а-а!

– О-ой! – завывает от восторга Корнев.

Дарсье влетает в вагон, и на мгновение все лица исчезают в окнах.

Слышны оттуда полупьяные веселые крики и возгласы:

– Кар! Кар!

– Француз!

– Ворона!

– А это видел? – вытаскивает Ларио бутылку водки и колбасу.

– Урра-а-а!

– Господа!! – кричит жандарм.

Все опять бросаются к окнам.

– Виноват!! Никогда больше не буду!! – кричит ему из окна Корнев и корчит такую идиотскую рожу, что все, и отъезжающие и остающиеся, хохочут.

Третий звонок, и все сразу стихают. И отъезжающие и остающиеся впиваются друг в друга глазами, точно желая сильнее запечатлеть милые, близкие сердцу образы. Тихо трогаются вагоны и один за другим все быстрее катятся и проходят пред глазами провожатых.

– Лови, – бросает Ларио огрызок колбасы в лицо жандарма, мимо которого проносится теперь их вагон, и, как бы помогая жандарму в его недоумении, что ему делать, кричит из окна, разводя руками: – Э, э, э...

А там, на платформе, стоят и всё смотрят вслед исчезающему поезду. Уж только площадка последнего вагона виднеется. И ее уже нет, и весь поезд скрылся за закруглением в садах, окружающих город. Только белое облако пара не успело еще расплыться в неподвижном, горящем всеми переливами огней, тихом закате.

А две матери все еще стоят и сквозь туман слез все еще смотрят в опустелую даль, вслед исчезнувшим, как сладкий сон, милым сердцу детям.

V

Первое впечатление от большого Петербурга было сильное и приятное. Громадные дома, перспектива Невского, его беззвучная мостовая, этот «ванька», на котором точно скользишь и съезжаешь куда-то по гладкой мостовой, тысячи зеркальных окон, экипажи, толпа... Затерянный Карташев ехал на своем извозчике, и какое-то сильное чувство охватывало его. Сырой запах сосны и смолы, смешанный с бодрящим морозным ароматом осени; небо в влажных разорванных тучах и в них солнце, полосами освещающее и улицы, и громадные дома; свет и тени этого солнца и эта движущаяся толпа... Карташев радостно всматривался и думал: вот где жизнь бьет ключом, кипит! И ему хотелось поскорей броситься в водоворот этой жизни. Радовала и мысль, что он теперь совершенно самостоятельный человек: когда хочет обедает, когда хочет и куда хочет идет, – сам себе полный хозяин.

Однако постепенно, рядом с этим чувством радости, стало закрадываться и другое. Карташева начинало тревожить сознание своей отчужденности от всей этой жизни, сознание своего одиночества. Люди идут, едут, спешат куда-то, – одному ему некуда спешить, нечего делать.

Приемные экзамены кончились, но лекции еще не начинались. В чистенькой комнате в четвертом этаже на Гороховой тоже делать было нечего. Читать не хотелось: в этом водовороте жизни тянуло не к книге. Этот шум улицы врвался в комнату, и, несмотря на четвертый этаж, лежащему на своей кровати Карташеву казалось, что он лежит не у себя в комнате, а прямо на улице: и кругом, и мимо него, и над ним, и по нем едут, громяхают, дребезжат и при этом не обращают на него никакого внимания. И точно, чтоб убедиться в этом, он опять бежал на улицу, а улица гнала его снова домой и опять-таки только для того, чтобы, стремительно взбежав на лестницу, войти, раздеться, оглянуться и сесть или лечь, почувствовав еще сильнее свою пустоту и одиночество.

Компания как-то сразу разбрелась и затерялась в большом городе.

Корнев поселился на Выборгской.

Ларио исчез совершенно с горизонта. Шацкий выдержал экзамен в институт путей сообщения, но о дальнейшей его судьбе Карташев тоже ничего не знал.

– Способный, шельма, – с завистью отдавал ему должное Корнев.

Дарсье поселился в доме своих дальних родственников, поступив в технологический институт главным образом потому, что здесь не требовалось никаких поверочных испытаний.

Как-то не было даже и охоты видаться друг с другом. Каждый понимал, что он отрезанный от других рукав реки, и каждый жадно искал своего выхода.

Одиночество все сильнее охватывало Карташева. Он бегал от него, а оно его преследовало. Побывал он в театрах, в Эрмитаже, в Академии художеств, но везде была все та же чужая ему, раздражавшая своей непонятной жизнью, незнакомая толпа. В жизни этой толпы были, конечно, и большой интерес, и большое содержание – она кипела, но чем сильнее кипела, тем больше мучился Карташев, единственный между всеми обреченный томиться пустотой и жадной жизни. Иногда, вечером, выгнанный скукой из своей комнатки, он шел по пустынным улицам, и тогда в стихающем шуме точно легче становилось на душе. Он вспоминал мирную, налаженную жизнь своего городка, семью, былой кружок товарищей, гимназию и интересы, связывавшие их всех в одно. Он с тоской заглядывал в освещенные окна тех домов, которые своими размерами напоминали ему далекую родину. Там, за этими окнами маленьких домиков, жили люди, у них были свои интересы. И он их имел когда-то. Вот сидит в кресле какой-то молодой господин, девушка прошла по комнате, – какая-то счастливая семейная обстановка. Счастливые, они живут и не знают, что есть на свете ужасный зверь – скука, – который бегаёт по улицам и жадно караулит свои жертвы. Иногда Карташеву вдруг даже страшно делалось от сознания своего одиночества. В этом большом городе было тяжелее, чем в пустыне. Там хоть

знаешь, что никого нет, а здесь везде, везде люди, и в то же время никого, в ком был бы какой-нибудь интерес к нему. Заболей он, упади и умри – никто даже не оглянется. И Карташеву хотелось вдруг уложить свои вещи и бежать без оглядки от этого чужого, страшного в своем отчуждении города.

Но еще сильнее угнетали Карташева ужасные расходы и мысль, как же жить и как это все впереди будет? В этом большом городе деньги плыли так же быстро и неудержимо, как та вода большой реки, которую переплывал он в ялике, наведываясь в свой университет.

Сто пятьдесят рублей, данные ему на три месяца, таяли, как снег весной: прошла всего неделя, а в кармане осталось только девяносто... Он старался считать каждую копейку, но как ни считал, а к вечеру двух, трех, пяти рублей уже не было. Куда уходили они? Он ломал голову, вспоминал, и постепенно все расходы всплывали в памяти: конка, иногда извозчик, лодка, папиросы, завтрак, обед (никогда у него не было такого чудовищного аппетита!), газета, что-нибудь сладенькое... только на сегодня, конечно; хлеб к чаю утреннему и вечернему, непредвиденный расход по хозяйству, лампа, щетка; белье, чай, сахар и масса мелочей, которых ни в какую смету не введешь, но которые съедают много, очень много денег. Эти мысли о расходах, о необходимости быть экономным и это полное неведение, как же быть экономнее, окончательно отравляли все существование Карташева. Каждый день составлялась новая смета, и в конце концов Карташев в отчаянии говорил себе: «Нет, лучше все деньги истратить не учитывая, чем так мучиться. Ну, когда останется три рубля, накуплю хлеба и буду жить целый месяц. А потом? – поднимался со дна души мятежный вопрос. – Потом, – растерянно думал Карташев, – потом... Я умру, или что-нибудь случится, потому что нельзя же больше месяца вынести такой каторги...»

VI

Часто, гуляя, Карташев любовался с набережной на выглядывавшее красное здание университета.

Что-то чужое, что он обидно почувствовал в университете в дни приемных экзаменов, уже изгладилось и снова уступило место потребности любить и привязаться всей душой к тому, к чему фантазия и мысль так давно и так жадно стремились. Это его университет, и все в нем хорошо: и длинный двор, и палисадник, и полукруг подъезда, и даже этот узкий, в красный цвет окрашенный фасад.

Скоро начнутся лекции, а с ними и настоящая студенческая жизнь, общение с профессорами, сходки, разговоры о лекциях-и прочитанном, выводы... о! это будет хорошо, как ванна, которая сразу отмоет его, освежит, разбудит... Тогда и денег некуда расходовать будет...

Наступил наконец и давно ожидаемый день начала лекций. Торопливо, с раннего утра Карташев умывался, одевался, смотрелся в зеркало и наряжался в свое лучшее платье.

Было прекрасное, почти морозное утро. Умытое ярко-синее небо охватило своими нежными объятиями город со всеми его домами, башнями, золотыми куполами. Лучи солнца заставляли весело, ярко сверкать эти купола в свежем утре.

Несся глухой гул.

Вот пустая еще Морская – мягкая мостовая и смолистый сырой аромат, этот возбуждающий, бодрящий аромат в осеннем воздухе.

Вот и Нева. Плавно и беззвучно катит она свои воды, вся скованная гранитом, громадными домами, с целым лесом в туманной дали мачт и судов. Лошадь гулко стучит по Дворцовому мосту, в сердце радостно замирает при взгляде на знакомое красное здание.

Лекции сразу начинаются знаменитым профессором. Серьезные, озабоченные фигурки одна за другой торопливо исчезали в громадных входных дверях. Здесь, в этой толпе, будущие министры и писатели.

Карташев спешно, судорожно рассчитывался с извозчиком, и вихри мыслей проносились в его голове. Он точно видит вдруг всю головокружительную высоту человеческой жизни. Кто, кто взберется на вершину ее? Тот ли маленький, тихий, глаза которого, как две звездочки, ясно смотрят на него в это мгновение, или этот в золотом пенсне, подкативший на собственном рысаке? Да, жизнь в этом большом городе не такая простая вещь, какой казалась там, в знакомой обстановке милой родины.

Карташев, раздевшись, быстро влетел по лестнице и, остановившись на площадке второго этажа, заглянул в открытую конференц-залу. Там было тихо, спокойно, и вся зала, со всеми своими стульями и хорами, точно спала еще.

Зато с левой стороны из коридоров и аудиторий уже несся шум тысячной толпы.

Карташев прошел по коридорам, заглянул в аудитории, разыскал свою, громадную, большую, с окнами на север, темную, с полукруглыми рядами амфитеатром расположенных скамеек, попробовал присесть на одной из них и опять вышел в коридор.

Возбужденное и праздничное настроение Карташева опять сменилось знакомым уже чувством пустоты и неудовлетворенности. Лица толпы были неприветливы или равнодушны. Встречавшийся взгляд или безучастно осматривал его фигуру, или смотрел угрюмо и даже враждебно.

В общем, это была все та же отчужденная толпа улицы, вызывавшая гнетущее ощущение. Так же на каком-нибудь гулянье, на Невском, равнодушно смотрели и проходили дальше. Здесь даже было что-то худшее: точно собрались конкуренты на одну и ту же должность, собрались и уже меряли своих противников, скрывая это под личиной равнодушия, пренебрежения, высокомерия и раздражения. Это уже не гимназическая толпа и не гимназические товарищи.

В гробовой тишине прозвучали глухо первые слова профессора:
«Милостивые государи!»

Точно яркая молния осветила повеселевшего вдруг Карташева. Это он-то милостивый государь? Но кто же другой? Конечно, он, студент петербургского университета. Не гимназист, а студент; не мальчишка, а молодой человек, пришедший вместе с другими сюда узнать то, что поведает ему этот знаменитый старик. И только для этого и больше ни для чего пришел и он, и все другие сюда, и все остальное – такая мелочь... пошлая и глупая... Радостное чувство охватило Карташева, и он вдруг впервые ощутил какую-то тесную связь с этой толпой. Нет, все-таки это уже не толпа улицы, это его толпа. Эта аудитория тоже не улица – это источник света, знания. Он молодой, во цвете сил, и перед ним длинная жизнь, и все, все будет в ней зависеть от того, какой фундамент успеет заложить он в эти, в сущности, короткие дни своего учения. О, надо слушать обоими ушами, слушать и не терять ни одного дорогого слова!

Но прежде всего надо было привыкнуть слушать. Сперва слова сливались в какой-то один неясный гул. Но мало-помалу звук стал яснее, и Карташев уже различал слова и отдельные предложения. На этом, впрочем, пока все и остановилось. Карташев слушал, различал слова, группировал их в предложения, вникал в смысл, а профессор в это время говорил уже что-то новое. Карташев бросал старое, хватался за это новое, напрягался изо всех сил, точно бежал запыхавшись. Казалось сперва, что все шло хорошо, но вдруг опять он спотыкался обо что-то, и в его голове все собранное сразу разлеталось.

Чем дальше шла лекция, тем все напряженнее и глупее чувствовал себя Карташев. Точно он слушал не энциклопедию права, а какую-то высшую математику, ряд непонятных, бог весть откуда взявшихся формул.

А между тем профессор читал только еще вступление к предмету, ко всем этим всевозможным философским системам от Фалеса до Тренделенбурга, собирался только приступить к пространному введению о методах диалектическом, органическом, историко-генетическом. Этот последний был его собственный метод, и Карташев смотрел с широко раскрытыми глазами и думал, в какую бездну надо погрузиться, чтобы не только понимать, а еще и изобрести этот какой-то страшный метод.

Прочитав час, профессор ушел и через несколько минут опять возвратился. Карташев с новым напряжением принялся слушать, опять магически кольнуло его «милостивые государи», и опять он точно погрузился сразу в какой-то бездонный хаос. Утомленный, он еще меньше понимал теперь.

«Но ведь я, – думал с отчаянием Карташев, – даже Бокля читал, читал Добролюбова, Чернышевского, Флеровского, Щапова, Антоновича, Писарева, Шелгунова, Зайцева, а вот этого не понимаю. Я считался одним из способных, математика всегда для меня была легким предметом. Профессор на поверочном экзамене по словесности, как только я заговорил о Шишкове, о школе Кочановского, пришел в восторг. А посмотрел бы он теперь на меня – каким дураком я сию... А другие, – они понимают?»

Карташев внимательно всматривался в лица слушателей. Одни были напряжены, другие без всякого выражения равнодушно смотрели в лицо профессору, третьи что-то чертили и двое-трое старательно записывали. Записывать в надежде сосредоточиться попробовал было и Карташев, но из этого ничего не вышло.

Он уже знал, что ничего не поймет, и думал только о том, чтобы придать своему лицу такое же выражение, как у всех. Он чертил петушка, отрываясь, делал вдруг вдумчивое лицо и, смотря в потолок, кивал головой. И в то же время он то и дело смотрел потихоньку на часы.

Никогда в гимназии так мучительно не ползло время. Боже мой, еще целых двадцать минут осталось. Разве уйти?! будто на минутку только вышел, а там и поминай как звали. Туда, на улицу, где шум, жизнь, где свежий воздух, а здесь... здесь точно воздуха не хватает. Еще десять минут: надо посидеть. Мимоходом, идя в аудиторию, он видел внизу буфет, стаканы с

чаем, большие бутерброды с свежей ветчиной. Пока все сидят здесь, захватить там поудобнее место... Нет, надо дослушать.

Карташев опять внимательно уставился в профессора. И вдруг произошло что-то странное. Профессор, относительно которого Карташев решил, что так никогда и не услышит от него ничего понятного, заговорил вдруг простым и самым обыкновенным языком:

– Милостивые государи, я кончил сегодняшнюю лекцию... Каждый год для одних я начинаю их первую лекцию, для других – кончаю их последнюю... Для вас, милостивые государи, новых граждан вашей «alma mater»¹, в свою очередь начинается новый период вашей жизни, лучший период, господа. Свет той идеальной правды, которую, если вы захотите, вы будете жить в этих стенах, вспомнится вам в жизни... Там, за этими стенами, вас ждет иная жизнь, ждет тяжелая и неравная борьба за этот свет. Силы для этой борьбы вы почерпнете только здесь, у своей alma mater, милостивые государи, в этом universitas literae literarum...² И, озаренные этим светом, не раз за мирными стенами этого здания повторите вы, милостивые государи, вместе со мной слова великого поэта:

*So gieb mir die Leiden wieder,
Da ich noch selbst im Werden war!*³

Голос старого профессора гулко задрожал, и с ним, казалось, задрожал воздух и холодные стены большой аудитории, задрожали молодые сердца молодых его слушателей... Что-то вдруг точно посыпалось, гром дружных аплодисментов огласил аудиторию.

Карташев обезумел: не помня себя, он аплодировал и кричал: «Браво, браво...»

Давно прекратились аплодисменты, и теперь все смотрели на него. Карташев вдруг смущенно оборвался. В его воображении нарисовалась его комическая фигура в узком сюртуке, отчаянно кричавшая не идущее к делу театральное приветствие.

Карташев с замершим полукриком бросился в коридор.

Застегивая на ходу пальто, он уже шагал по панели так, точно кто-нибудь гнался за ним.

¹ матери-кормилицы (лат.).

² средоточии наук (лат.).

³ Так возврати те дни мне снова, когда я сам в развитии был! (нем., перевод А.Фета.)

VII

Приехавши в Петербург, Корнев оставил на вокзале вещи и отправился прямо на Выборгскую искать себе квартиру.

– Ну, вот и отлично, – проговорил он в первой же квартире, в третьем этаже, услышав объявленную цену – восемь рублей. – Вам оставить задаток? – обратился он к маленькой, чистенькой старушке, квартирной хозяйке, в черном платье и черном чепчике.

– Да, конечно, если вам понравилась комната.

Комната понравилась.

Из маленькой, светлой, продолговатой передней, прямо против входных дверей, и была его комната. Окнами она выходила на восток, и так как перед домом был пустырь, то из окна открывался далекий вид на Неву и на город.

Небольшая комната была светла, а желтенькие обои прибавляли, казалось, еще больше света. Незатейливая обстановка: кровать, комод, письменный стол и три стула – не блистала роскошью, но все было достаточно чисто, достаточно уютно и, главное, недорого.

Корнев поехал назад на вокзал за вещами и часа через два уже сидел в своем новом жилище.

Он обстоятельно расспросил хозяйку, где купить ему чаю, сахару, в какой кухмистерской обедать и где абонироваться на чтение книг.

Узнав все, Корнев оделся и отправился исполнять свои дела по хозяйству.

Кухмистерская, где подавались два блюда за двадцать копеек, пришлась ему по вкусу и едой и обществом, состоявшим почти исключительно из студентов-медиков и молодых девушек, которые собирались поступить или уже поступили на разные курсы. Тут же в кухмистерской он познакомился кое с кем из поступающих сверстников и узнал, что приемные экзамены начнутся через две недели.

Вечером, после чая, Корнев, лежа на кровати, то читал какую-то статью, то, отложив книгу, грыз ногти и думал.

В одиннадцать часов он кончил чтение, разделся, потушил свечку и заснул с тем особым удовлетворением, с каким засыпает человек в первый раз на новом и притом желанном месте.

Утром на другой день он занялся приведением в порядок своих вещей: вынул из чемодана белье, платье, книги. Белье и платье спрятал в комод, аккуратно выстлав дно комода простынями, а книги уложил на письменном столе.

Приведя все в порядок, он сел и написал письмо домой, извещавшее родных о благополучном его прибытии в Питер, о том, что он уже поселился на своей квартире, обедает в кухмистерской и что экзамены начнутся через две недели.

Кончив письмо, Корнев посмотрел на часы. Был уже час – время, назначенное им для обеда, и он отправился в кухмистерскую. Там он быстро – это делалось как-то само собой – завязал еще новые знакомства, и так как разговор коснулся интересных тем, то после обеда он еще долго оставался в кухмистерской.

VIII

Под вечер к Корневу приехал Карташев и привез с собой разных южных лакомств.

– Дома? – раздался в передней знакомый голос Карташева.

– Дома, дома, – ответил весело Корнев и отворил свою дверь.

Карташев ввалился в комнату и, раздевшись наскоро, стал выкладывать на стол: халву, финики, виноград. Корневу вдруг сделалось так весело, как давно уже не было.

– Ооой! – завыл он и повалился на кровать.

– Ура! – подхватил Карташев и, бросив лакомства, улегся рядом с Корневым.

Приятеля давно не видались и чувствовали себя в эту минуту так же уютно и хорошо, как когда-то в доброе старое время. Вспомнилась вдруг деревня, Наташа, гимназия, и показалось все кругом беззаботным продолжением прежнего. Лежавший Карташев был для Корнева как бы реальным воплощением этого прошлого, – Карташев, все такой же избалованный и раскинутый, и спутанный и искренний, что-то размашистое и неустойчивое, а в общем все тот же Карташев, который меньше всего сам знал, куда и как ткнет его судьба или то что-то, что распоряжалось им всегда и везде.

Корнев поднялся на локоть и благодушно смотрел на приятеля.

– Первая лекция была, – произнес загадочно и с некоторым достоинством Карташев.

– Ну? – спросил Корнев веселым подмигивающим тоном, которому Карташев не мог противиться.

Он, когда ехал к Корневу, решил умолчать о всех своих разочарованиях.

– Ничего не понял! – выпалил Карташев неожиданный для себя ответ.

Дальнейшие вопросы и ответы происходили в промежутках все более и более подмигивавшего обоим смеха.

– О чем он читал?

– А черт его знает!

– Оой?! Что ж ты будешь делать?

– Куплю сло-о-ваарь!

– Завтра пойдешь?

– Нет!!

Оба приятеля выли и стонали от нестерпимых колик.

Когда наконец водворилось спокойствие, которого страстно жаждали сами несчастные жертвы смеха, Корнев, вытирая слезы, сказал:

– Положительно не помню, когда я так смеялся.

Вечер прошел в разговорах, в куренье, в лежании по очереди на кровати, наконец приятели улеглись рядом.

– В этом доме дают чай? – спросил Карташев.

– Как же, – ответил Корнев, отрываясь от своего обычного занятия – грызения ногтей – и стуча кулаком в стену.

На стук вошла громадного роста краснощекая, в невероятно больших и тяжелых ботинках, простая деревенская баба, нанятая хозяйкой для исполнения обязанностей горничной.

Став как-то боком в дверях и слегка прикрывая лицо передником, Аннушка смотрела так, как будто не сомневалась, что оба вдруг вскочат и, бросившись к ней, начнут ее щекотать.

– Ну? – спросила она, и живот ее вздрогнул.

– Произведение природы, – заметил Корнев и, сосредоточенно постучав пальцем о стену, сказал: – Во!.. Подойдите сюда ближе, мое сокровище...

Горничная нерешительно подвинулась.

– Аннушка, я должен вам сказать, к величайшему моему прискорбию, что вы... Подойдите сюда ближе и не бойтесь: вас никто не тронет.

Аннушка медленно подходила и весело в упор все смотрела на Корнева.

– Что смеетесь?

– Вы неисправимы, милая Аннушка, – сказал Корнев, – вот вам деньги: купите два фунта хлеба и фунт колбасы... самовар поставьте... поняли?

Аннушка взяла деньги и, успокоенная, направилась к двери.

В дверях она остановилась и, весело покосившись на молодых людей, взвизгнув: «Ишь жеребцы стоялые!» – скрылась при новом взрыве смеха.

Аннушка и в продолжение остального вечера не переставала забавлять приятелей своими выходками. В одно из своих появлений, в ответ на новый смех, она подперлась рукой и со вздохом сказала:

– Ну, что ж? я женщина молодая, известно... Что и не поговорить? Муж у меня плохой: хворый да недужный.

И вдруг, перейдя опять в веселый, лукавый тон, она кончила:

– Ишь жеребцы... пра-а...

– Если хочешь, она в своей колоссальности и недурна собой, – сказал Карташев, когда она ушла.

– Ну, – пренебрежительно махнул рукой Корнев.

– Ее бы на арку Большой Морской.

– Вот именно... Что ж, ты так-таки ни с кем и не познакомился в университете?

– Решительно ни с кем, – ответил Карташев.

– А я здесь уже кое с кем свел знакомство.

– Ну?

– Да кто их знает... всё, конечно, наш брат... топчутся они на том же, на чем и мы когда-то...

– Неужели ничего нового?

– Кажется, желание на стену лезть.

– Но ведь это же бессмысленно.

– То есть как тебе сказать...

– Вася, да, ей-богу же, это мальчишество. Прямо смешно... Здесь особенно, в Петербурге, так ясно... Что ж это? Только шутов разыгрывать из себя...

Корнев грыз молча ногти...

– Да, конечно, – нехотя проговорил он. – А все-таки интересная компания, их стоит посмотреть... Оставайся ночевать... Пойдем завтра в нашу кухмистерскую.

– С удовольствием.

– Смудишь ты их разве своим костюмом...

– Что ж такое костюм? Я и перчатки надену.

– Только ты все-таки будь осторожен, а то ведь у них язычок тоже хорошо действует.

– А мне что?

– Сконфузят.

– Ну...

– Есть и барышни...

– Конечно, – все дураки, кроме них?

– Послушай, откуда у тебя вдруг эта нотка? не платки же они таскают из кармана... Нет, ты брось это раздражение...

– Можно создать и более реальные интересы...

– Какие?

– Вот поживем, – ответил Карташев.

Корнев пылливо посмотрел на него и раздумчиво пробормотал:

– Дай бог...

– Вася, согласишься с одним: у них узко... а все, что узко, то не жизнь... Может быть, я и ошибаюсь, но я не хочу верить на слово – я хочу сам жить и убедиться.

– Но что такое жизнь? Надо же ей ставить идеалы.

– Но взятые из жизни.

– А если эта жизнь мерзопакостна?

– Неужели так-таки вся жизнь мерзопакостна? Я не верю... Я иду в жизнь... ставлю свои паруса, и что будет...

– Без компаса?

– Мой компас – моя честь. Я вчера у Гюго читал: он говорит, что двум вещам поклоняться можно – гению и доброте... Честь и доброта, – Васька, право, довольно и этого!

– Посмотрим... Конечно... А интересно – лет через десять что выйдет из нас? Конечно, жизнь не линейка – взял да провел черту... Я вот думаю: что из тебя выйдет?

Корнев подумал:

– Глупое, в сущности, наше время... Развития в нас настоящего нет... В сущности, туман, большой туман у всех...

На другой день Корнев повел Карташева в кухмистерскую.

Прием ему был оказан такой холодный и пренебрежительный, что даже Корнев смутился.

После двух-трех слов с Карташевым прямо не хотели говорить.

Карташев смущенно уткнулся в газету.

Злое чувство охватило Карташева. В это время в столовую вошло новое лицо, при взгляде на которое Карташев так и прирос к полу.

Это был худенький студент, в грязном потертом вицмундире, на плечах и спине которого была масса перхоти, волосы на голове торчали черной копной, косые черные глаза смотрели болезненно и твердо. Черная бородка пушком окаймляла маленькое хорошенькое лицо, но, несмотря на бородку и мундир, это был все тот же маленький друг его – Карташева, друг, которого он когда-то...

– Иванов! – вырвалось из груди Карташева и сейчас же заменилось сознанием и прошлого, и отчужденности своей здесь, в этой кухмистерской.

Иванов внимательно, спокойно всмотрелся в Карташева, как во что-то, ради чего должен оторваться хоть на мгновение от своего главного, что теперь поглощало все его помыслы...

– А-а, Карташев...

Это было сказано так, что Карташев почувствовал, что перед ним стоит чужой человек. Одна страстная мысль овладела им в это мгновение: прочь, скорее прочь отсюда.

– Кончил? – спросил его между тем Иванов.

Кончил, конечно, гимназию...

– Да, кончил, – сухо, испуганно ответил Карташев.

– Куда же? В путей сообщения? – рассеянно спросил Иванов.

Карташев сдвинул брови.

– Хотел, но струсил, – вызывающе ответил он.

– Что же так?

К Иванову один за другим подходили, здоровались и незаметно увели его в другую комнату.

Карташев торопливо одевался.

Корнев молча, уже одевшись, наблюдал его и грыз ногти.

– Ко мне пойдешь? – спросил Корнев.

– Нет, домой, – ответил, не смотря на него, Карташев и, торопя взятого извозчика, с тяжелым чувством поехал прочь от негостеприимных мест Выборгской стороны.

IX

На вступительном экзамене Корнев провалился на латыни. Тем не менее, судя по предыдущим годам, была надежда, что в академию его все-таки примут.

Неудача подействовала на него самым подавляющим образом. Удачу, неудачу он не признавал.

– Неудачник, – рассуждал он, – это чушь. Есть способности – выбьется человек из всякой мерзости, а нет – значит, чего-нибудь не хватает.

Чего у него не хватало?

Он попробовал развлечься Петербургом, но громадный и чужой Петербург давил и его, как Карташева, внося еще больший разлад в его душевный мир.

Где действительно истина? В этой ли кипучей жизни или в том духовном стремлении к чему-то высшему, чем жил когда-то он и весь кружок его, чем живет большинство тех, которых он видит теперь вокруг себя на Выборгской? Но тогда – отчего в этих кружках почти нет студентов старших курсов? Это как бы подтверждало его мысль, что он уже успел пережить то, что переживается кружком кухмистерской. Но в то же время он чувствовал, что знает о них не все и от него как будто что-то скрывалось.

Таинственная обстановка, которая окружала Иванова, была для него неясна, и он усиленно грыз ногти и думал, думал. Думал, в сомневался, и становился в тупик, кто же он, наконец: практик, идеалист или просто-напросто жалкая, богом обиженная посредственность? Он был уверен, что после экзаменов на него так и смотрели все его новые сотоварищи.

– Ну и черт с тобой! – говорил он сам себе.

Он не хотел сам себя знать, и тем обиднее было, когда в голову лезли разные, в сущности, нелепые, унижительные, даже с его точки зрения, мысли. Он знал их и сам возвращался к ним.

Одна из таких мыслей была о его некрасивой физиономии и о том, можно ли нравиться с такой физиономией женщинам.

Он ходил по улицам, поглощенный своими большими вопросами, и в то же время часто, всматриваясь в лица прохожих, тоскливо думал: «Даже эта рожа лучше моей». Иногда он заглядывал в свое маленькое кривое зеркальце и возмущенно говорил себе:

– Господи, да чтоб с этакой рожей надеяться нравиться, надо быть просто идиотом!

Сомнительным для него было только отношение к нему одной Наташи Карташевой. Как ни отбрасывал он все то, что могло быть отнесено к области его собственной фантазии, все-таки в их отношениях оставались такие мгновения, которые, при всем старании опровергнуть, он должен был истолковать в свою пользу. Но и тогда Корнев возмущенно говорил себе:

– Совершенно непонятное явление, просто один из тех болезненных, капризных моментов, когда именно безобразное лицо может как будто нравиться.

И он задумчиво смотрел в окно.

Там, за окном, день подходил к концу, последние лучи играли в туманном воздухе на далеком куполе Исаакия. Было пусто и в этом уходящем дне, и в комнатке. Какая-то далекая, тихая грусть щемила сердце. Там, далеко, в этом большом городе, словно тонет в тумане, словно замирает размашистая, грандиозная жизнь дня, чтоб с огнями вечера опять вспыхнуть с новой силой в разных театрах, собраниях... Там, в той жизни, какая нужна сила, какая мощь, чтобы выплыть на ее поверхность? Там Карташев, Шацкий уже готовы вот-вот броситься в этот водоворот – и не боятся... а он одинаково робкий и чтобы вместе с ними броситься в этот кипучий поток, и чтобы примкнуть ближе к кружку Иванова... А жить так хочется, и так болит сердце от этой пустоты, от сознания своего бессилия, ничтожества... Улетел бы в эту даль, туда, в позолоту лучей догорающего дня, которые точно неумолчно говорят о чем-то душе, будят и зовут ее из тоскливой пустоты удручающих мыслей о своем бессилии... И такая вся

жизнь! – пустая, скучная, бессильная, раболепная перед каждым нелепым случаем, трусливая пред каждым столкновением, унылая, всегда только грубо ремесленная.

Корнев не заметил, как тихо отворилась дверь и всплыла Аннушка.

Он пришел в себя, когда громадная Аннушка, обхватив его своими объятиями сзади, произнесла вдруг:

– И что он это все думает?

– Убирайтесь вон!!

– Господи! – только успела вскрикнуть Аннушка и скрылась из комнаты.

Корнев не мог прийти в себя от неожиданности и возмущения. Еще только недоставало именно Аннушки! Вот достойная его компания...

Но прошло некоторое время, и Корнев стал думать иначе. Он поймал самого себя на высокомерии и, остановившись, задал себе вопрос: «А почему и недостойна она меня? Что я за паца такал и куда постоянно лезу с суконным рылом? Да, может быть, она, простая, в тысячу раз лучше меня, ломаного, искалеченного, меня, для которого мое дурацкое знание и мой жалкий самосознающий ум только источники вечного унижения? Да, наконец, ну что такое в самом деле Аннушка? Простой, добрый человек, как умеет выражающий свои чувства».

Корнев постучал кулаком в стену.

Когда вошла Аннушка, он ласково сказал:

– Самовар дайте, пожалуйста.

– Ишь как напугал, – весело ответила Аннушка.

Корневу было приятно, что она не поставила ему в вину его резкость.

Когда Аннушка приносила ему поднос с посудой и затем самовар, он хотел быть с ней ласковым, хотел что-нибудь сказать, но не решился, и только, когда та принялась готовить ему постель, он, проходя мимо и слегка хлопнув ее по широкой спине, проговорил:

– Ишь здоровая...

В ответ на это Аннушка, почувствовав, что ветер подул с другой стороны, ответила важно:

– Не балуй.

– Вот как, – фыркнул себе под нос Корнев.

Настал длинный, скучный вечер. Корнев напился чаю, принялся опять было читать, но не читалось; вспомнил о том, что, может быть, придется уехать, прогнал эту мысль и все остальные, которые по ассоциации идей поползли было в голову, и стал ходить по комнате, желая жить и думать только о настоящем. Это настоящее воплощалось в этот вечер в громадной Аннушке. Ее тяжелые шаги, глухо раздававшиеся там где-то в лабиринте темных коридорчиков, раздражали нервы Корнева. Он останавливался, прислушивался и опять ходил. Иногда он точно просыпался вдруг, его охватывало какое-то омерзение, и он быстро садился за книгу. Но опять вставал и опять начинал нервно, тревожно шагать.

Мысль о возможном сближении с Аннушкой охватывала его все сильнее больной истомой. Чувствовалось какое-то унижение в этом, но этого ему и хотелось сегодня. Он ложился на кровать, его грудь тяжело подымалась, кровь, как расплавленная, переливалась в жилах и молотом била в голову. Было уже двенадцать часов ночи. Корнев разделся и потушил лампу. Давно все стихло...

Но вот, чу! точно пол скрипнул... точно тени задвигались по комнате, словно паутина опутала лицо и мысли... Весь охваченный, Корнев протянул руку и наткнулся на голую громадную руку наклонившейся к нему Аннушки...

Пробуждение Корнева на другой день было странное: и легкое и тяжелое. Точно в нем сидело два человека и один пытливо и злорадно спрашивал: «А теперь что?» Другой же равнодушно, пренебрежительно отвечал: «Ничего»...

Он лежал грустный, задумчивый, с каким-то легким в то же время ощущением, – точно несколько лет ему с плеч сбавили.

Дверь отворилась, и Аннушка вошла в комнату. Она была в новом платье, новом фартуке, и на лице ее был праздник. Она остановилась, взялась за бока и вполоборота спросила лукаво:

– А муж? – и тяжело вздохнула.

Корнев, не ожидавший ничего подобного, лежал и растерянно молчал, угрюмо сдвинув брови.

Но Аннушка, у которой переходы были быстры, уже вытирала передником губы и веселым голосом говорила:

– Ну, поцелуемся... Сегодня ведь мой рожденный день...

Она наклонилась к Корневу и толстыми мягкими губами, с ароматом своей деревенской избы, залепила Корневу сразу и губы, и глаза, и весь мир, поставив его властно только перед собой одной – колоссальной Аннушкой.

– Хорошенький ты мой! – тихо прошептала она и со вздохом удовлетворения вышла из комнаты, оставив свою жертву пластом лежать на кровати, с закрытыми глазами.

Корнев долго лежал.

– Ну, все равно, – облегченно сказал он наконец, поднялся и начал быстро одеваться.

Напившись чаю, он вышел на улицу. День был на славу. В академии Корнева ждала приятная новость: он был зачислен в число студентов.

Х

Карташев сделал еще несколько попыток одолеть лекции энциклопедии, достал даже Гегеля, собираясь читать его в подлиннике, но все это как-то ни к чему не привело. Он кончил тем, что перестал посещать лекции знаменитого профессора, а Гегель так и лежал почти нетронутый, пугая Карташева своим видом.

Лекции других профессоров также не привлекли к себе его внимания.

Римское право показалось ему продолжением латинского языка и во всяком случае таким, которое требовало простой зубрежки, а потому Карташев и решил, что время, потраченное на слушание, можно провести производительнее, посвятив его прямо зубрению всяких латинских текстов римского права.

Приступить к этим текстам он все и собирался изо дня в день.

Русское право было понятно, но профессор читал тихо и снотворно, и на Карташева напала такая неожиданная дрема, что он перестал посещать и эти лекции, объясняя свое отсутствие на них страхом заснуть и тем поставить себя в безвыходное положение.

«Зачем я буду рисковать скандалом? Лучше же дома прочесть: благо слово в слово читает».

Наконец, лекции государственного права пришлось по вкусу Карташеву, но здесь уж были другие причины, по которым он редко бывал на них. Во-первых, чисто финансовые – посещение университета стоило денег: извозчик, завтрак с бутербродами... Во-вторых, из трех лекций в неделю по государственному праву две начинались в девять часов, то есть как раз в то время, когда Карташеву невыносимо хотелось спать. А в-третьих, литографированные лекции и по государственному праву существовали, следовательно, и их можно было прочесть.

Понемногу Карташев так разоспался, что вставал часов в одиннадцать. Вставши, пил чай, читал газету и задумывался над тем, что ему предпринять: сесть ли за лекции, написать ли домой письмо или заглянуть в университет? Последнее наводило на мысль о финансах, и он с тоской в душе начинал пересчитывать свои капиталы. Их невероятное уменьшение повергало его в новое уныние. Он садился составлять еще новую смету. Но сколько-нибудь вероятная смета уже настолько превышала наличность, что Карташев скоро бросал это дело и шел обедать. После обеда читал газету, валялся на диване и нередко засыпал, укрытый газетой.

Вечером он пил чай, и если не приходил Ларио, то отправлялся в театр скромно, – куда-нибудь в галерею.

Если же заходил Ларио, то они сидели, разговаривали, а иногда отправлялись вдвоем на вечерние прогулки по Вознесенскому и Мещанским. Тихий, сдержанный и молчаливый, Ларио делался бойким на улице, его «го-го-го» звонко неслось по Вознесенскому, он заигрывал с проходившими девицами полусвета, подпрыгивал перед ними, визжал и бойко неестественным голосом парировал их замечания.

Ларио не раз звал Карташева отправиться к Марцынкевичу, но тот от такого посещения наотрез отказывался.

– Почему же? Ведь там тебя же... Странно...

Ларио коробило, как он говорил, «жангильничанье»⁴ Карташева. Он шуточно кипятился и фыркал, затрудняясь объяснить Карташеву безопасность такого посещения для него.

– Ведь ты же не девушка, наконец.

Ларио презрительно пускал свое «го-го-го».

Кончалось тем, что Ларио говорил:

– Ну и черт с тобой, я бы пошел, если бы у меня была рублевка.

⁴ жеманство (от франц. *gentil*).

– Возьми, – предлагал Каргашев.

После некоторого колебания Ларио брал.

– Как получу урочишко, первое, Тёмка, что сделаю, – куплю почетный билет в Марцынку... билет три рубля стоит, и тогда за вход всего двадцать копеек, а так – по рублику каждый раз пожалуйста.

– Если хочешь, возьми три.

– Ну, что ты! Да я вот сегодня только, а там до урока – ни-ни...

XI

Прошел месяц со дня приезда Карташева в Петербург.

Как-то раз выходя из конки, скучавший и томившийся Карташев встретился неожиданно лицом к лицу с долговязым Шацким. Шацкий, расставив ноги, весело смотрел на Карташева: тот же шут, несмотря на путевую фуражку, с маленьким румяным лицом, веселый и возбужденный. Карташев очень обрадовался ему.

– Здравствуй, здравствуй, – заговорил снисходительно Шацкий.

Карташев, хотя и не был с ним на «ты», ответил ему весело:

– Здравствуй!

– Ну-с, мой друг, как поживаешь? – спросил покровительственно Шацкий. – Откуда?

– С лекций.

– О! Куда теперь?

– Обедать.

– К Детруа, конечно?

– Да.

– Да, да... Ростбиф из конины, огурцы с купоросом... да, да. Твой живот?

– Каждый день понос.

– Да, да: пока ешь – вкусно; кончил, в брюхе кол, через полчаса после обеда опять есть хочется, а вечером расстройство... Сопни...⁵

Карташев рассмеялся.

– Совершенно верно.

– Ну, вот что, мой друг, – продолжал Шацкий, – не хочешь ли сегодня отобедать со мной у Мильбрета, – на четыре рубля дороже в месяц, но сохраняется желудок...

– Что ж, с удовольствием.

– В добрый час! Так что ж, возьмем извозчика... эй, ты, Мильбрет – гривенник...

Извозчик не согласился.

– Пятиалтынный...

– Дай ему...

– Ни за что!

Извозчик был наконец нанят.

– Я, знаешь, – начал Шацкий, садясь и принимая тот шутовской тон, за который так недолго любил его Корнев, – долго колебался – где абонироваться... хотел у Дюссо, но там хуже...

Карташев усмехнулся.

– Ну, конечно...

– Чтоб ты знал, что хуже, – быстро и опять естественным тоном заговорил Шацкий, – я тебе открою, в чем тут секрет: Мильбрет скупает придворные обеды, а согласишься, мой друг, что эти обеды лучше всяких твоих Дюссо... очень, очень мило. При моем желудке, знаешь, – Шацкий опять впал в шутовской тон, – немного изнеженном после вод в Спа, наконец, при моем положении, знаешь, эти друзья: маркиз де Ривери, барон Гавен и много других – это всё добрые ребята – неловко, знаешь, когда зайдет разговор об обеде, и скажут вдруг: «А вы заметили, какое оригинальное фрикасе сегодня было?» И вдруг стоишь как дурак – где фрикасе, какое фрикасе?!

Шацкий уже на выпускных гимназических экзаменах завоевал себе право говорить и действовать так, как ему заблагорассудится. Здесь, в Петербурге, где он уже успел и доказать

⁵ Известно... (франц.)

свои способности, поступив вторым в трудное по приему заведение, и выглядел, кажется, единственным веселым человеком, – этот Шацкий производил на Карташева впечатление уже не того идиота, каким окрестил его Корнев. Теперь это был, правда, шут, но остроумный (с этим соглашался и Корнев) и главное – без претензии человек.

Карташев давно уже держался за бока от смеха.

– С тобой, однако, очень весело, – проговорил он. – В гимназии...

– Все это прекрасно! – ответил небрежно Шацкий. – Только оставь, ради бога, гимназию... При моих нервах гимназия – это плохое лекарство. Забудем ее, мой друг, и всех этих Корневых, Долб... Мы с тобой «high life»⁶, ты, надеюсь, знаешь, что значит это слово? Ну, конечно. Но еще выше этого есть. Du chien, hanche! А мне необходимо ехать в Париж на скачки, мой друг Nicolas... Ну, ты, конечно, знаешь, кто это именно?

Шацкий посмотрел на опешившую немного физиономию Карташева и залился сам веселым смехом.

Карташев рассмеялся.

– Parfait, mon cher!⁷ из тебя выйдет толк. Я люблю таких, которые смеются, когда ничего не понимают. Не торопись обижаться – ты позже поймешь смысл моих слов. Да, мой друг, жизнь – это большая загадка, и дурак тот, кто тратит время на ее разбор, потому что, пока он вникнет в суть, жизнь пройдет у него между пальцами, и он только: а-а-а... как Вася, твой Корнев. Если б он здесь был, он погрыз бы ногти и сказал: «Да, это верно», – и прибавил бы: «А впрочем, я, может быть, и ошибаюсь»... c'est ça⁸. Таковы все мудрецы от Фалеса до Тренделенбурга, которых ты теперь изучаешь и, конечно, ни в зуб не понимаешь – сопни, сопни! Все они начинают с того, что отрицают предшественника; с важным видом нагородив всякой ерунды, умирают, а ты зубри их... твоё положение грустное, мой друг... Бытие, небытие, становление – и вдруг, трах, абсолют... A fichtre a blic!⁹

– Откуда ты все это знаешь?

– Мой друг, оставь это. Revenons a nos moutons¹⁰, как говорил мой друг Базиль... ты, конечно, знаешь моего друга Базиля?

– Я должен тебе откровенно сказать, – сказал Карташев, – что хотя ты и ерунду несешь, но я с удовольствием тебя слушаю.

– Да, да. Ты всегда был немного наивный, но добрый мальчик, хотя тебя и портит Корнев... О чем бишь я говорил?.. Может быть, перед обедом ты хочешь, как делают мои друзья, захватить поесть устриц или навестить Альфонсину? Ты, пожалуйста, не стесняйся, мой друг: мой экипаж к твоим услугам.

– Едем уж прямо к Мильбрету.

– Как хочешь, как хочешь! А напрасно! Этим не следует пренебрегать. Это очень важно, эти мелкие приличия, эти условия хорошего тона – свет не прощает их: ces petits riens qui ne valent rien, mais qui content beaucoup. Iâ faut prendre, mon cher¹¹, там за кулисами ты можешь делать что хочешь, но на сцене... Моя покойная приятельница, princesse Natalie... – ты, конечно, ее не знаешь?.. нередко говорила мне: «Michel, прошу тебя во имя моей памяти, никогда не забывай, что свет...» Да, да, бедная Natalie, ты умерла, а я остался... да, остался... что делать, мой друг. Faisons notre metier¹², как говорил старикашка Виль. Кстати, ты, конечно, знаком с генералом Шайницем? Как? Ты не знаком? Мой друг, ты ставишь меня в неловкое

⁶ высший свет (англ.).

⁷ Прекрасно, дорогой мой! (франц.)

⁸ вот именно (франц.).

⁹ Черт возьми! (франц.)

¹⁰ Вернемся к нашим баранам (франц.).

¹¹ эти пустяки, которые ничего не стоят, но дорого обходятся. Нужно быть осторожным (франц.).

¹² Займемся своим делом (франц.).

положение... что же я скажу моим друзьям? Он не знаком! Впрочем, ничего, успокойся: дело можно поправить... Я устрою охоту. Я позову его... Там вы познакомитесь... Но, мой друг, прошу тебя: забудь ты на это время о своих деревнях: все эти вассалы, деревенские развлечения, поездка летом на санях, когда вместо снега посыпают соль, – все это вышло из моды, и ты никого не удивишь... Все знают, что вся Волынская губерния твоя... к чему же об этом распространяться? Вот если ты привезешь нам одну из твоих красавиц вассалок – этим ты много выиграешь... Но и это, как и все, мой друг, надо делать с тактом, очень тонко, *mon cher*. Ради бога... Я уж вижу... Тыходишь с ней в ложу... О мой друг, кто же так делает?! Ради бога! оставь ее... Ты с ней не знаком!! пойми, ты с ней не знаком!! Пусть она входит в ложу, пусть садится, делает, что хочет, – ты ее не знаешь до тех пор, пока граф Иван не скажет тебе: «Обратите внимание... Литера справа...» Мой друг, мы, люди большого света, мы ленивы на слова... Но я уж вижу, ты обрадовался... и с деревенской наивностью выпаливаешь, что это твоя вассалка... Ну, и пропало все... Ну, кто же так делает? Когда ты перестанешь меня компрометировать?! Я же не могу, ты пойми, пожалуйста, что я не могу! Я очень рад, что этот разговор пришел мне в голову именно теперь... Постарайся, если можешь, запомнить, что я говорю... А, это большое несчастье. Ваши деревенские головы устроены, как решето; эти грубые вещи: медведи, удобрение – остаются, но все эти тонкости проходят через вашу голову, как вода... Я понимаю, вы несчастные люди, запоминать вам наш этикет гораздо труднее, чем Бисмарку подчинить себе весь мир – вы напрягаетесь, стараетесь, но это не в вашей силе... но, мой друг, кураж, кураж¹³, зачем падать духом? Немножко воли... Наконец, ты можешь быть немножко и оригиналом. Свет допускает это... Ты можешь взять бриллиант Nicolas и сказать: «Хорошая вода...» Потом расстегнуть сюртук и небрежно приложить его к пуговицам своей жилетки... пуговицы, конечно, бриллиантовые... в три раза больше; потом, опять посмотрев, небрежно скажешь: «Хорошая вода», – положишь... Это будет, конечно, немного грубовато, по-деревенски, но оригинально... Да, мой друг, знание света – это дается не всякому... А впрочем... все это не важно... У тебя много денег?

Этот неожиданный оборот смутил Карташева.

– Тебе это на что?

– Мой друг, прими себе за правило: когда тебя спрашивают, то не для того, чтобы получить в ответ глупый вопрос, – это провинциальная и даже мещанская манера.

– Не находишь ли ты, что ты как будто впадаешь немного в нахальный тон? – спросил Карташев, сдвинув брови.

– Ты думаешь? – переспросил Шацкий и со вздохом умолк.

– Надеюсь, тебя не очень обидело мое замечание? – проговорил Карташев.

– Не будем больше говорить об этом, – меланхолично и рассеянно ответил Шацкий. – Если бы меня обидели твои слова, я должен бы по нашим правилам сейчас же расстаться с тобой, и завтра утром мой друг Nicolas просил бы тебя сделать ему честь указать кого-нибудь из твоих друзей, с которыми он мог бы условиться относительно остального. Затем, в назначенный час, мы съехались бы в условленном месте, в черных, наглухо застегнутых сюртуках, протянули бы друг другу руки, как будто между нами ничего не произошло, и пока наши друзья заряжали бы пистолеты, мы говорили бы с тобой о погоде, о последних скачках, о мисс Грей... Ты знаешь ее? Рыжая? как собака, мохнатая, грязная, как свинья, ест обеими руками арбуз...

– Что ж тут красивого?

– Мой друг, ты ничего не понимаешь. Пойми, нам надоело это *ingenue*¹⁴, нам нужно что-нибудь этакое, острое... *Du chien*...¹⁵

¹³ смелей (от франц. *courage*).

¹⁴ простодушие (франц.).

¹⁵ С перцем... (франц.)

Шацкий помолчал.

– Ну и что ж? Ты скучаешь, томишься, по двадцати листов пишешь письма, врешь, конечно, что не отрываешься от лекций, и делаешь тонкие намеки, чтоб прислали денег? Пожалуйста, только не конфузься и старайся не врать... Побольше простоты. Оставим провинции ложь... Между порядочными людьми это не принято... Если бы я своим родным не писал о моих друзьях и занятиях, я не имел бы никакой надежды на примирение...

– Неужели ты пишешь им о всех этих графах и князьях?

– Что в этом тебя удивляет? Имена моих друзей не такие, что могли бы меня компрометировать в глазах моей родни... Только одно и смущает меня, что в конце концов забуду и перепутаю все эти фамилии...

И Шацкий залился самым веселым смехом.

– И верят? – спросил Карташев.

– Что за вопрос?! Я им и карточки послал с надписью. Ты понимаешь? Для поддержания таких знакомств нужны средства. Кстати, дай мне твою карточку и надпись сделай по-английски... Впрочем, зять знает твою руку, да и пишешь ты... Всё лишние расходы.

– На покупку карточек?

– Мой друг?! Три рубля пятьдесят копеек уже истратил. Последнего моего друга послал в шотландском костюме, кажется, Байрона...

– Но ведь отец твой, кажется, образованный человек.

– Дядя – да, а отец тридцать лет сеет хлеб, разводит свиней и выезжает лошадей. Газет ни-ни, и тридцать лет никуда из деревни, понимаешь?

В это время извозчик подъехал к Мильбрету. Большие комнаты, масса народу смутили Карташева. Заметив, что Карташев конфузится, Шацкий старался очень осторожно помочь ему справиться со своим смущением, принес целую грудку газет, подавал ему первому блюда и вообще оказывал столько мелочного внимания и так просто, без принуждения и подчеркивания, точно и сам не замечал, что делал. Карташев был очень тронут этой любезностью и думал: «Оригинал большой, но очень симпатичный. Корнев хороший человек, но у него есть известная предубежденность, которая мешает ему видеть вещи в их истинном свете. Он сам не замечает, как требует, чтобы все были по одному шаблону сделаны. Это, конечно, невозможно, с этим надо считаться. У каждого свое особенное. Я беру симпатичное, а до остального мне дела нет. Мне Шацкий симпатичен, и я не вижу основания уничтожить в себе эту симпатию. Да и какое наконец право я имею воображать себя почему-то выше и колоть этим глаза? А может быть, этот Шацкий гораздо выше меня, добрее и...»

Карташев хотел сказать – честнее, но вспомнил проделки Шацкого с родней.

«И тут не его вина – кто их там знает, какие у него отношения с родными и что они за люди. Да, наконец, не в жены же я его брать хочу. Мне доставляет удовольствие его общество... Одиночество невыносимо для меня, – я томлюсь, бегаю по всему городу, высунув язык от тоски, отвыкаю от своего голоса... Нет, окончательно решено – я сближаюсь с Шацким».

И Карташев открыто и ласково посмотрел на Шацкого.

– Мы очень редко с тобой видимся, а между тем, наверное, оба скучаем – я был бы очень рад, если бы мы видались почаще.

– Мой друг, за чем же дело стало? – ответил Шацкий и, церемонно встав, протянул руку Карташеву. – Может быть, поедем ко мне чай пить?

– Поедем лучше ко мне... Я жду письма.

– С удовольствием.

Новые друзья вышли на улицу, взяли извозчика и поехали к Карташеву.

Войдя в комнату Карташева и сняв пальто, Шацкий сел на диван и, качая пренебрежительно головой, заговорил:

– Так, так... образец петербургской квартиры, пять дверей в одной комнате и трескотня и резонанс такой, точно сидишь в табакерке с музыкой... Ничего нет удивительного, что десять, пятнадцать лет – и человека везут в сумасшедший дом... А впрочем, некоторые застрахованы от этого... твоего Корнева не свезут... Он, подлец, сам свезет. Не будем говорить об этом: это грустные мысли. Чай есть?

Карташев распорядился.

– Ну, что же, устроился? – спросил Шацкий и стал осматривать хозяйство Карташева. Он подошел к столу и небрежно тронул неразрезанные лекции Карташева.

– Наука не процветает... Да, да, надо немного забыть гимназию, чтобы опять какой-нибудь интерес почувствовать к этой несчастной науке... Небольшой, впрочем... Всё те же десять тысяч слов... Но скажи, к чему у тебя все эти ковры, скатерти, столовое белье, для чего это студенту? Это видно, что с политической экономией ты еще не знаком... Всех денег назад не выручишь, но третью часть можно получить.

– Заложить?

– К чему такое беспокойство? – Шацкий заглянул в окно. – Постой... Как раз он.

– Кто?

– Татарин...

Шацкий высунулся в форточку и крикнул татарину номер квартиры.

– Послушай... – начал было Карташев.

– Так ведь не захочешь продавать и не продашь, а цену на всякий случай узнаешь...

Татарин пришел, и Шацкий, быстро поворачиваясь, живой, сосредоточенный, стал ему показывать вещи, объяснял, врал про их стоимость и раздражил в конце концов аппетит татарина настолько, что тот настойчиво стал предлагать за все отобранное тридцать два рубля.

– Ну, тридцать пять или убирайся к черту, – решительно проговорил Шацкий.

Карташев протянул руку за деньгами.

– *A la bonne heure*¹⁶, – произнес Шацкий, облегченно вздыхая.

– Еще нет ли чего? – спросил татарин, увязав все.

– Нет, нет, иди, – замахал Карташев.

Когда татарин ушел, Шацкий сказал:

– Домой, конечно, не напишешь...

– Конечно, напишу, – недовольно перебил Карташев.

– Напрасно.

– Оставим этот разговор.

– Как тебе угодно.

– Мне, правду сказать, немножко неприятна вся эта продажа.

– Ну, стоит ли, мой друг, на таких пустяках останавливаться... с твоим сердцем и умом. *Escoute*¹⁷, едем к Ларио... Сегодня этот негодяй заходил ко мне, но не застал: это неспроста...

¹⁶ В добрый час (*франц.*).

¹⁷ Послушай (*франц.*).

XII

Дела Ларио были плохи.

Восемнадцать рублей, с которыми он приехал в Петербург, разошлись очень быстро. «Из дому» он ничего не получал, потому что единственная его родня – сестра – неожиданно овдовела и с четырьмя детьми осталась на такой ничтожной пенсии, что сама нуждалась в самом необходимом.

Надежды на урок тоже были на воде вилами писаны. При таких условиях никакие общие планы не лезли в его голову, и когда товарищи задавали ему в этом роде вопросы, Ларио начинал смущенно и оживленно подергивать плечами, разводил руками и говорил:

– Мой друг... ну, ну что ж тут думать о том, что будет послезавтра, когда завтра я, может быть, подохну с голоду.

И он смущенно пускал свое «го-го-го», закладывал вещи, пока было что закладывать; кое у кого брал займы, если предлагали. Иногда он приходил в гости, целый день ничего не евши, и если ему не догадывались предложить поесть, то и он не говорил о том, что голоден. По его красному лицу и по оживлению трудно было догадаться, что человек сегодня ничего не ел. Но если его спрашивали:

– Петька, обедал?

Он отвечал:

– Собственно, н-нет... – И сейчас же прибавлял: – Собственно, вот, урочишко если бы получить рублей хоть в десять, и отлично бы.

Но, когда Ларио наедался, оживление его вдруг пропадало. Он делался молчалив, возился с своим больным зубом и угрюмо, без выражения, смотрел куда-нибудь в сторону.

Случайные рублевки уходили на Марцынкевича, и в этих случаях, оправдываясь, Ларио, разводя руками и по обыкновению кипятясь, говорил:

– Мой друг, что ж я на два рубля сделаю? По крайней мере, ну, хоть забудусь.

В общем, чем запутаннее становилось положение, тем Ларио делался беспечнее.

Единственно, что еще смущало его, – это квартира, или, как говорил он, «квартирный вопрос». С квартирой связывался и обед – блюдо голубей, правда, не всегда обеспеченное, но все-таки щит от страшного призрака полного голода.

Поэтому, когда пришел срок платить за месяц, Ларио скрепя сердце, – это было как раз накануне встречи Шацкого с Карташевым, – отправился к Шацкому и попросил у него займы шесть рублей. Он получил от Шацкого деньги, но вышло как-то так, что в последнее мгновение он решил уплатить хозяйке только за полмесяца. На остальные же три рубля пообедал, выпил бутылку пива, а вечером отправился к Марцынкевичу.

Там, в прокопченных залах этого заведения, его обдало обычным спертым воздухом, в котором смешивались и человеческий пот, и прокислые закуски буфета, и пиво, и водка. Но конфузливый в так называемом порядочном обществе, Ларио здесь не чувствовал обычного стеснения. Он умел в этих залах проводить весело время.

Когда он вошел, вечер был в полном разгаре. В воздухе тускло горели газовые рожки, освещая низкие, грязные залы, в которых взад и вперед двигалась обычная толпа посетителей: гризетки, горничные, ремесленные кокотки, «швейки», их кавалеры – приказчики, студенты и разного рода кутящий люд, от чуйки до господина во фраке, желающего поразить этот мир изысканностью своих манер. Но здесь, в этой демократической толпе, было мало настоящих ценителей таких манер, и они вызывали только веселый смех в дамах да желание со стороны кавалеров своих дам поставить обладателя фрака с изысканными манерами в какое-нибудь особенно глупое положение.

На местном жаргоне это называлось «устроить скандал». На этом поприще Ларио уже стяжал себе славу. Он был здесь несомненно популярным человеком и, чувствуя почву, держал себя с апломбом и уверенностью некоторым образом героя толпы.

Дамы любили Ларио за простоту, «за мах», за его готовность беззаветно спустить с ними последнюю копейку, и спустить с таким треском и шиком, на какой способен был только он, когда развернется.

Появление Ларио заметила Шурка «Неукротимая» (прозвище, как и остальные: «Подрумянься», «С морозцу» и прочие, данные самим Ларио) и понеслась к нему с противоположного конца зала.

Шурка была пропорциональная, среднего роста молодая девушка в черном платье, с простой прической, большими серыми глазами и румянцем на худом красивом лице.

Из многочисленных своих симпатий Ларио любил Шурку особенно за шик, за огонь, за пренебрежение к нарядам. Ее неизменный цвет платья был черный, а прическа – всегда прямой пробор и коса. Только и щеголяла Шурка своими шуршавшими белыми юбками да красивыми ботинками, плотно облежавшими ее стройную ногу. Но и эта роскошь имела, так сказать, свой смысл. Шурка была первая мастерица в танцах, и па, где сшибался поднятою ногой цилиндр с головы визави, требовало одинаково и грации, и безукоризненной ножки, и массы, наконец, юбок, маскирующих в решительный момент все, кроме ботинка и части обнаженного чулка.

Ларио, стоя у дверей, давно увидел мчавшуюся к нему Шурку, но, как опытный в таких делах человек, сделал вид, что не замечает ее.

– Петька, подлец! – налетела на него Шурка...

– А... а... ну, здравствуй, – ответил равнодушно и пренебрежительно Ларио.

– Ты что? угости!

– С этого времени тебя, прорву, начать накачивать, – трех капиталов не хватит, – искренне раздражился Ларио.

Шурка, чувствовавшая к нему какую-то невольную симпатию, и не подумала обидеться, а заметила только по важному виду Ларио, что «подлец Петька» при деньгах. Так как это бывало очень редко, а Шурка всегда и без денег оказывала ему внимание, то она сочла себя вправе воспользоваться этим редким случаем, чтобы на этот вечер стать исключительной обладательницей Ларио. Поэтому, ущипнув своего кавалера как можно сильнее за руку, она проговорила:

– Да ты это что, Петька?! Ты и не подумай у меня отлынивать! Смо-о-три!! чуть что – прямо глаза выцарапаю: тронь только кого-нибудь.

Горячий ответ Шурки пришелся по душе Ларио. «С огнем женщина!» – подумал он, но, не выдавая себя, небрежно ответил:

– Ладно... Не больно запугала, я и сам подолю задирать умею.

– Этак? – спросила Шурка и подбросила чуть не к носу Ларио носок своего ботинка.

– Не балуй! – как только мог солиднее ответил Ларио, сдерживая охватывавшее его удовольствие.

– Да ты что ломаешься?! – уже смело сказала Шурка, требовательно наступая на Ларио. – Ах ты дрянь этакая!

Она приблизила свое лицо к лицу Ларио и не спускала с него своих красивых глаз.

В глазах Ларио что-то сверкнуло. Девушка почувствовала свою силу и тоном, не допускавшим уже никаких возражений, скомандовала:

– Целуй!

Ларио нерешительно обдумывал: устоять или исполнить заманчивое для него приказание.

– Ну? – строго и с новой зажигательной силой повторила Шурка.

– Выведут... – слабо воззвал Ларио к благоразумию Шурки.

– Начхать!! Целуй.

Ларио быстро чмокнул Шурку в губы и еще быстрее, взяв ее под руку, нырнул с ней в толпу, повторяя на ходу:

– Ей-богу же, выведут.

В толпе они встречали знакомых и любезно кивали головой направо и налево. Своих первых танцоров узнавала толпа и почтительно пропускала вперед.

Так незаметно дошли они до буфета.

– Коньяк – ни-ни! – решительно заявил Ларио.

– Петька-а?!

– Вот тебе и Петька.

Шурка внимательно заглянула в глаза Ларио.

– Стану я тебя спрашивать?! Коньяку!!

– Ну и плати сама.

– Петька?

– Петька я давно, – водку пей...

– Ну, петушок, одну только... а там до конца, ей-богу, вот тебе крест, – водку.

– Экая дрянь... Ну дуй.

Шурка проглотила рюмку коньяку залпом и, дотрагиваясь до блюда вареных красивых раков, спросила:

– Рака?

Ларио, крикнув после выпитой рюмки водки, кивнул Шурке головой в знак согласия и сам, закусив редькой в сметане, под руку с Шуркой, осторожно обламывавшей ножки рака и сосавшей их, направился в залу.

Они опять шли под руку и опять весело раскланивались со знакомыми.

И все его симпатии: и «Подрумянься», и «С морозу», и Лизка-пьяница, и Маша первая, и Маша вторая – все, все понимали и то, что у Петьки деньги и что Шурка на сегодня завоевала Петьку, и в их поклонах ясно передавалось, что они признают эту победу и с своей стороны никаких посягательств ни на Петьку, ни на его карман делать не будут. И довольная Шурка говорила своему кавалеру о том, какие они все хорошие люди.

Были, впрочем, и такие, которые не желали признавать Шуркиных прав на захват и старались привлечь на себя внимание Ларио. Эти давали Шурке повод говорить о назойливости, о нахальстве, о подлости человеческой природы вообще и в частности о пристававших к Ларио.

У Шурки язык был, как бритва, она искусно работала им против своих соперниц, и Ларио говорил больше для успокоения Шурки:

– Да черт с ними: что тебе?

– Ну так и иди к ним... – горячо отвечала обидчивая Шурка, вырывая руку.

Но мир снова восстанавливался быстро, и Ларио опять выслушивал рассуждения Шурки на тему о подлости человеческой природы.

– Порядочная девушка, – говорила она убежденно и так громко, чтобы слышала та, к кому это относилось, – никогда не станет приставать к чужому кавалеру.

– Муж он тебе? – смущенно возражала соперница.

– Вот тебе и муж!!

– Черт вас вокруг стула крутил, – говорила, вспыхнув, соперница и быстро уходила, боясь Шуркиных когтей.

Шурка останавливалась, вот-вот готовая полететь вдогонку за убежавшей, но Ларио крепко держал ее за руку.

– Ну вот, ты всегда так, – говорил он ей торопливо, – рюмку выпьешь и уж скандалить готова... Брось...

– Ушла, – удовлетворенно говорила Шурка, не слушая доводов своего кавалера, и они опять продолжали свою прогулку.

Особенно назойлива была подозрительная, бледная фигура женщины лет под тридцать, с кличкой «Катя Тюремщица». Справедливо или нет, но эту Катю весной обвинили в воровстве кошелька у своего кавалера и посадили на три месяца в тюрьму. Это вконец подорвало ее положение: ее избегали. Да к тому же и возраст ее, – тридцать лет большой возраст для такой жизни, – и помятый вид, особенно после тюрьмы, как-то сразу осадившей ее, – все это делало то, что изо дня в день Катя Тюремщица, как какая-то проклятая тень, чужая всему окружающему, одиноко шаталась в толпе посетителей Пассажа, Невского, Вознесенского и Марцынкевича. Знакомство ее с Ларио было случайное, в минуту жизни трудную, когда он был совершенно без денег и искал чистой любви, а она, не обедавши, искала хоть куска хлеба. Они с аппетитом в тот вечер съели зажаренного в золе голубя.

Ларио узнал историю Кати, и хотя она была и Тюремщица, и некрасива, и поношенна, но в его любвеобильном сердце нашелся и для нее уголок: он любил ее за то, что, как говорил он, она была «бедненькая», то есть тихая, кроткая и загнанная.

Неприятны были только ее глаза, напряженные, ищущие.

– Жаль девочку, – сказал Ларио, проходя мимо Кати, бросавшей на него непозволительные, с точки зрения кодексов Шурки, взгляды.

– Сама только и вредит себе, – строго ответила Шурка. – В другой раз, может, и нашла бы свое счастье, а теперь, конечно, всякого порядочного человека только сконфузит... Дура, и больше ничего...

Ларио покосился на музыкантов и проговорил:

– Что они там жили тянут, – начинали бы кадрили.

– Ты иди, скажи...

Наконец раздался давно ожидаемый сигнал к кадрили.

В длинной зале начали строиться пары. Молодой человек на коротких ножках, в пиджаке, поспешно натягивал перчатки, топтался возле своей дамы и с волнением оглядывался по сторонам так озабоченно, точно от этой кадрили зависела вся его судьба. Подвыпивший господин из молодых приказчиков тащил под руку, вдоль построившихся пар, свою толстую, неуклюжую даму, отыскивая себе визави. Лысый, в чуйке, кавалер, сапоги бутылкой, робко втиснулся с своей дамой в ряды танцующих и оглядывался так, точно вот-вот покажется его законная супруга, от которой он мгновенно и даст «стрекача» в толпу. Что касается дам, то те с деловыми лицами строились также равнодушно, как делают это солдаты на учениях.

Ларио с Шуркой перед началом кадрили выпили еще по одной. Его немного шокировала компания сотоварищей, и он нетерпеливо ждал кадрили, когда в разгаре танцев не все ли равно ктоazole: чуйка ли, убежавший от своей жены, или приказчик, запустивший сегодня удачно руку в хозяйскую кассу.

Около Ларио и Шурки собралась обычная толпа зрителей.

Музыка заиграла.

– En avant!¹⁸ – резко тряхнул головой Ларио и двинулся с своей дамой вперед.

Начало, как всякое начало, не представляло ничего интересного. Ларио с легкостью, какую трудно было предположить в нем, не шел, а плыл, семена ножками, подергивая телом и руками. Иногда он хлопал в ладоши и мерно, в такт мотиву, наклоняя голову, довольно громко напевал:

*Кокотки-гризетки
Совсем не кокетки!
Кто их знал, кто их знал,
Не мог их позабыть*

¹⁸ Вперед! (франц.)

Иногда он бросал слово-другое своей подруге: «раскачивайся», «шевелись», и под этот приказ Шурка точно загоралась и показывала свой, как выговаривал Ларио, «шшиик».

Настоящий танец с соответственными телодвижениями начался в пятой фигуре, когда Шурка и Ларио делали свое solo. К этому моменту вокруг них собралась почти вся нетанцующая публика.

Первая пошла Шурка под зажигательный припев Ларио:

*O, hey, la cascade! Hey la tocade...
En avant, en avant, voyez la bacchanale?!¹⁹*

Шурка в это время, подобрав обеими руками платье, с массой торчащих из-под него белых юбок, загнула все это у себя на коленях и, придерживая руками, начала в такт музыке, все подвигаясь вперед, выбрасывать свои красивые маленькие ножки в высоких ботинках.

Когда музыка переменила вдруг мотив, Ларио быстро и с треском подхватил:

*Кончиком ботинки
С носа сбить pince-nez.*

Как раз в это мгновение дойдя до Ларио, Шурка вдруг распустила свои юбки и быстро, непринужденным движением ноги, действительно сбросив с носа Ларио pince-nez, уже благополучно отбивала назад, слегка закинувшись и соответственным движением руки как бы приглашая за собой своего кавалера.

Взрыв аплодисментов наградила раскрасневшуюся Шурку за выказанную грацию и искусство.

Наступила очередь Ларио.

– Живей! – коротко, энергично скомандовал он. – Clic-clac.

И, дождавшись желанного темпа, разгорячившийся Ларио выступил вперед. Никто не узнал бы теперь обыкновенно тихого и застенчивого Ларио: это был уверенный в себе, стройный и сильный красавец юга. Вся итальянская кровь его дедов проснулась и заговорила в нем. Каждая жилка, каждый мускул вибрировал и играл. Большие черные глаза горели и метали искры, лицо покраснело, волосы в красивом беспорядке рассыпались по лбу.

– En avant! – вскрикивал он по временам.

И это короткое, страстное «en avant!» электрической искрой пробежало от него к толпе.

– Н-на!

И Ларио последним движением как-то боком, сложив на груди руки, подбросил обе ноги враз, успев ими и щелкнуть, и одну из них поднять выше Шуркиной головы.

– Bis! Bravo!.. – заревела публика.

На bis Ларио скомандовал казачка.

Под звуки новой музыки он легко и сильно, точно и не танцевал, пустился, как резиновый мяч, ударяемый сильной рукой, откалывать самого отчаянного трепака.

В то же мгновение Шурка тихо и плавно, красиво перегнувшись и помахивая платочком, выплыла на середину зала. Все давно бросили танцевать и во все глаза следили за красивой парой. То заступая нога за ногу, скрестив руки, кавалер уходил от своей дамы; то догонял ее, присев к земле и перебирая, не подымаясь, ногами; то опять пускался в ту минуту, когда, казалось, все силы оставили его, в самую отчаянную присядку. И казачок он кончил каким-то

¹⁹ Да здравствует веселье! Да здравствуют интрижки... Вперед, вперед, вот так вакханалия?! (франц.)

не поддающимся описанию скачком, причем ноги его взлетели на воздух, и в то же мгновение ладонью он хлопнул по полу.

Новый взрыв аплодисментов и новый неистовый крик «bis».

После кадрили почитатели таланта просили Ларио и его даму выпить и закусить с ними. Ларио скромно принимал приглашения, но ничего, кроме водки, не пил, объясняя каждому, что он человек с маленькими средствами и пьет только то, чем может ответить.

Но верхом торжества было, когда вдруг распорядитель заведения, протолкавшись к прилавку, подал Ларио на подносе билет почетного посетителя. Ларио немного смутился, но не принять было неловко. Настроение и желание толпы было угадано: посыпались новые аплодисменты, раздались крики «ура», «браво», и смущенный Ларио только успевал раскланиваться на все стороны.

Поднялись и Шуркины акции: она получила несколько соблазнительных предложений. Один фронт даже звал ее ехать к Пивато. Шурка наотрез отказывалась от всех приглашений.

Но кавалер ее не был на высоте. Перед ним вдруг очутилась Катя Тюремщица и голосом простым, но полным горького упрека, произнесла:

– Сашку коньяком поишь, а когда денег нет – ко мне; в последний раз и на извозчика не дал.

– Не дал? И дал бы, да не было: видала кошелек?

Ларио говорил с неприятной интонацией человека, желавшего отвязаться от назойливого собеседника. Он ждал еще приставаний и приготовился ответить Тюремщице еще резче, но та замолчала и только тоскливо и безнадежно смотрела в одну точку. Ларио скользнул взглядом по ее лицу и смущенно поспешил отвести глаза. В это мгновение фигура Тюремщицы так мало подходила к окружавшей их обстановке. Это и отталкивало от нее, и сближало с нею какой-то другой стороной: точно стояла перед ним не женщина этой залы, а какой-то близкий, очень близкий ему человек.

– Целый день маковой росинки во рту не было, – скорее как мысль вслух, тоскливо проговорила Катя.

Доброе сердце Ларио сжалось от этих слов. Глаза его направились в ту сторону, где стояла Шурка, и, заметив, что та с кем-то разговаривает, он быстро и смущенно ответил:

– Так бы и сказала... пей... – И, взяв рюмку с прилавка, он передал ей.

Угощая Тюремщицу, Ларио думал, что он, не нарушая прав Шурки, исполнял только некоторым образом свой долг.

Но не так посмотрела на вопрос Шурка, заметившая действия своего кавалера. Вскипев негодованием, на какое только способна была ее невоздержанная натура, она бросилась к Тюремщице и, не помня себя, с воплем: «Так вот же тебе, тюремная присоска!» – выбила из рук соперницы рюмку, которую та только что собралась опрокинуть в рот. Водка расплескалась по лицу и платью Тюремщицы, рюмка упала на пол, и в ту же минуту Шурка получила такую пощечину, что на мгновение даже растерялась. Но вслед за тем, с визгом налетев на соперницу, всеми своими десятью когтями она впиалась в лицо Тюремщицы. И хотя их немедленно растащили в разные стороны, но лицо Тюремщицы сразу залилось кровью. Впрочем, и из носа Шурки капала кровь, и теперь она осторожно, чтоб не запачкать платье, то и дело прикладывала платок к носу и оживленно рассказывала всем, желавшим слушать, историю драки. Тюремщица не слушала и, закрыв лицо, стояла, как человек, получивший смертельный приговор. Она понимала одно: она, с своим обезображенным лицом, сразу потеряла и на сегодня, и на завтра, и на много дней какую бы то ни было надежду на практику, а с ней и надежду на еду, кров... Положение сразу стало невыносимым и критическим. И все эти соображения и последний, не дошедший до рта кусок подействовали на несчастную так, что она, присев тут же на стуле, вдруг горько зарыдала.

Между тем скандал привлек все общество, поднялся оживленный говор. Шурка, раскрасневшаяся и растрепанная, все вытирала кровь, капавшую из носа, и горячо рассказывала историю с своей оскорбленной точки зрения; ясно было неблагородство Тюремщицы, и все смотрели на последнюю, продолжавшую молча рыдать, с каким-то смешанным чувством соболезнования и презрения. Для Тюремщицы весь дальнейший эпизод не имел уже никакого интереса. При охватившем ее отчаянии не было места пустому, минутному самолюбию, которое фонтаном било в молодой, здоровой Шурке. Тюремщица продолжала рыдать, не интересуясь окружающим, как чем-то таким, что с этого мгновенья, может быть, навсегда станет ей чуждым. Рыдания перешли в кашель, тяжелый, судорожный кашель надорванной груди. На зрителей повеяло атмосферой больницы. Тюремщица не слышала, как пришел распорядитель, как в десятый раз, еще раз, Шурка с разными дополнениями передала ему всю историю; не слышала, как поднялся вопрос о выводе кого-нибудь из них, как Ларио горячо и убежденно просил и уговаривал распорядителя не доводить дело до скандала, как, наконец, решено было смягчить форму изгнания. Тюремщица пришла в себя только тогда, когда распорядитель, наклонившись к ней, мягко посоветовал ей ехать домой. Она беспрекословно встала и, продолжая всхлипывать, закрываясь платком, пошла за ним на лестницу.

Ларио догнал ее и сунул ей в руку сорок копеек. Тюремщица в ответ, закинув голову с прикрытым рукою лицом, так всхлипнула, что Ларио прибавил смущенно:

– Завтра часов в десять утра приходи ко мне, – и мгновенно вернулся назад утешать другую жертву «любви» к себе – Шурку Неукротимую.

На возвратном пути распорядитель остановил Ларио и попросил его, в виде особого одолжения, увезти и Шурку, так как в обществе началось обратное движение – в пользу Кати, а публика достаточно пьяна, и, пожалуй, может выйти новый скандал. Ларио согласился, но с подвыпившей Шуркой не так легко оказалось справиться. Тем не менее, при добром содействии друзей и подруг, Ларио удалось наконец в четвертом часу ночи свести Шурку в уборную. Но уже в пальто, услышав вдруг веселые звуки кадрили, Шурка пустилась в пляс и чуть не вырвалась, как была, назад в танцевальную залу. И когда и на этот раз удалось ее уговорить, она с горя успела все-таки хоть перед швейцаром проделать свое любимое па.

На другой день, когда Ларио проснулся, Шурка уже была на ногах и в одной юбке возилась около самовара.

– Где твой чай и сахар?

– Где? – повторил Ларио, – в лавке... Пстой, пошлю сейчас.

Ларио вскочил, отворил дверь, просунул голову и как мог ласковее произнес:

– Марья Ивановна!

Что-то в конце темного коридорчика заколыхалось и медленно подплыло к полуотворенной двери. Это и была та самая Марья Ивановна, расплывшаяся, всегда добродушно-недоумевающая квартирная хозяйка.

– А что, некого, Марья Ивановна, послать за чаем?

– Кого же? Дашу рассчитали, а новой нет еще.

– А... может быть, вы дадите на заварку... я вот только оденусь.

– Хорошо.

– И сахару немножко...

– И булку?

– Да, пожалуйста... Очень, очень вам благодарен.

Ларио, дождавшись у дверей припасов, опять улегся и, вспомнив с неприятным чувством о предстоявшем визите Тюремщицы, во избежание столкновения проговорил:

– Ну, однако, Шурка, того... пей чай и марш... мне надо заниматься.

– Еще что выдумал? – спокойно ответила Шурка, – никуда я не пойду.

Хотя это и очень польстило самолюбию Ларио, но тем не менее он категорично повторил свое требование. При этом он, как мог, объяснил ей, что у него репетиция, что такое репетиция и что необходимо что-нибудь знать, а он еще ничего не знает.

Хотя Шурка поверила только последнему, но, ввиду настойчивости Ларио, который при всей своей деликатности, сам наконец встав, начал одевать ее, она уступила и начала трогательно прощаться с ним. Ларио так расчувствовался, что отдал ей весь свой капитал, – что составило всего-навсего пятьдесят пять копеек.

Шурка сунула деньги в карман, подавив упрек, что с таким заработком не проживешь, спустила на лицо вуаль, потом опять подняла его, в последний раз поцеловала своего возлюбленного и повернулась уже к двери, собираясь отворить ее, как вдруг дверь сама отворилась, и Шурка замерла на месте. В дверях стояла унылая фигура Кати Тюремщицы.

В мгновение ока Шурка поняла теперь и что значила эта репетиция, поняла и всю подлость Петьки и вскипела негодованием к неблагодарному, для которого она, может быть, целые десять рублей променяла на жалкие пятьдесят пять копеек.

Ларио совершенно опешил от такой неожиданности и стоял, как пойманный вор. Шурка вскинула на него глаза, и новый прилив бешенства охватил ее. С криком «подлец» она схватила что-то попавшееся под руку и бросила это что-то о землю так, что оно разлетелось в куски. Затем, как бомба, она вылетела из комнаты, чуть не сбив с ног Тюремщицу.

Это, брошенное Неукротимой, было не что иное, как снаряд Ларио для голубей.

Ларио стоял над разбитым снарядом, с разбитой надеждой на обед, с тяжелой обузой в лице унылой Тюремщицы, и тем ярче схватывал его образ исчезнувшей живой Шурки Неукротимой.

XIII

Карташев и Шацкий, отправившись к Ларио в день первой встречи и продажи вещей татарину, застали его в странной семейной обстановке.

Ларио лежал на кровати, а Тюремщица сидела у его ног.

Увидев в дверях приятелей, Ларио быстро смущенно поднялся, а Тюремщица поспешила выйти из комнаты.

Шацкий только кивал головой, расставив свои длинные ноги.

– Кто это? – спросил Карташев.

– Говори... – печально предложил Шацкий.

– А правда – милая? – спросил смущенно Ларио.

– О! очень милая, – ответил, переменяв быстро тон, Шацкий и забежал по комнате.

– Вы, пожалуйста, не подумайте того... что-нибудь, – вдруг смущенно заговорил Ларио, щурясь на своих гостей. – Как это ни странно... Го-го-го... Я выступаю в довольно комичной роли – в роли покровителя порядочной женщины... Го-го-го... Хотя она... того...

Ларио сделал жест, точно ловил в воздухе муху.

– Го-го-го, покровитель, го-го-го, порядочная женщина, го-го-го, того, – умеешь ты, наконец, говорить по-русски? – нетерпеливо спросил Шацкий.

– Понимаешь ты, – начал опять Ларио, ни капли не обижаясь, а, напротив, успокоившись от слов Шацкого. – Женщина решила бросить прежнюю свою специальность; ну, конечно, ты мне поверишь, что я здесь ни при чем... ну, и пришла ко мне... Ну и...

Ларио точно подавился.

– Ну, говори! – крикнул на него Шацкий.

– Ну, понимаешь ты, хоть я не миссионер, черт меня побери, го-го-го, но не сказать же мне ей: «Иди опять в проститутки», – что ли; я, конечно...

Ларио опять замялся.

– Ну, одним словом, ты разнюнился, – подсказал ему Шацкий, – ну, и что же?

– Я, положим, не разнюнился... и ты врешь, но я тоже...

Ларио говорил бы еще два часа, наверно, ни до чего не договорившись, если бы Шацкий не оборвал его:

– Одним словом, ты оскандалился?

– Ничуть не оскандалился...

– Я почти уверен, что ты даже нюни распустил...

– Ну, это ты, может, способен от юбки нюни распускать...

– Врешь, подлец, теперь я убежден даже в этом... Ну, все равно... Ты предложил ей помощь... отцовскую или братскую помощь... конечно, братскую...

Ларио бросило в жар.

– О мой друг, к чему же так выдавать себя, как какой-нибудь мальчишка... Пожалуйста, не перебивай...

– Ну, да о чем тут разговаривать, – перебил Карташев, – главное здесь то, что действительно надо помочь...

– Все это не главное, главное – уличить вот этого мерзавца...

Шацкий указал на Ларио, который, вдруг успокоившись, щурился и произнес, стараясь придать голосу самый спокойный тон:

– Ну, ну, говори.

– Ты распустил нюни...

– Врешь.

– Ты обещал отцовскую или братскую помощь.

– Не братскую и не отцовскую.

– Врешь, подлец. Ты...

Шацкий впился в Ларио, который еще больше прищурился, как бы пряча свои глаза от его пронизательности.

– Ты, – медленно, с расстановкой начал Шацкий, – придумал план помочь ей...

– Придумал.

– Она по специальности швейка...

– Не швейка, модистка, положим.

– Все равно... Ты решил...

Шацкий остановился и наслаждался производимым им впечатлением.

– Ну, ну? – переспросил Ларио, волнуясь.

– Купить ей швейную машину!! – И Шацкий, выпалив это, вскочил, забегал по комнате и, сделав совершенно идиотское лицо, заговорил какую-то чепуху.

Ларио, смущенный тем, что Шацкий угадал его планы, не спускал с него глаз.

– Ну, Миша, – заговорил он, – как хочешь, а ты с чертом свел уже знакомство. От тебя, знаешь, чертовщиной уже несет...

Шацкий рассмеялся, но продолжал нести свою ерунду.

– А знаешь, почему я колдун? – спросил вдруг Шацкий и ответил: – Потому что ты глуп.

– Сам ты глуп, – добродушно ответил Ларио.

– Ты действительно думал купить ей машинку? – спросил Карташев.

– Да... Понимаешь, у нее практика обеспечена, ее, так сказать, бывшие подруги по ремеслу...

– Придумал!! – с презрением перебил Шацкий. – Именно надо быть Петей, чтобы додуматься до такой глупости.

– Почему, мой друг? – спросил Ларио.

– А потому, – серьезно заговорил Шацкий, – что на машине и она не будет работать, и ты ее выгонишь на другой день... Она от работы отвыкла, она, хоть бы хотела, не может работать, потому что изнурена...

– Она даже кровью кашляет...

– Дурак, – фыркнул Шацкий. – Но если бы она и могла работать... Платья, юбки, заказчицы, и все это в твоей комнате, и ты с тремя Сашками, пятью Лизками... Понимаешь теперь, что ты глуп?!

– Ну, хорошо, ты умен, ну, и какое же твое мнение?

– Нет, ты не отлынивай, ты понимаешь теперь, что ты глуп?

– Ну, хорошо, дальше...

– Сознался наконец... Слава тебе, господи... А дальше то, что ей надо открыть мебелированные комнаты. Найдется несколько таких дураков, как ты, которые ей платить ничего не будут, и она вместе с вами подохнет с голоду.

– Меблированные комнаты – идея хорошая, – согласился Карташев, – но для этого надо много денег.

– Немного больше, чем для машины... Можно откупить уже с готовой обстановкой, можно напрокат взять, можно в рассрочку купить... сто рублей надо.

– Ну, и отлично... Я даю тридцать пять, вырученные от татарина, – сказал вдруг Карташев.

Конечно, Карташевым руководило и доброе чувство, но в то же мгновение сам собою разрешался смущавший его и другой вопрос: продажа вещей была бы неприятна его матери. Если не писать ничего об этом и деньги прожить, выйдет некрасиво, а если отдать этой несчастной, то молчание о продаже вещей получит характер даже некоторым образом возвышенный: «Да не ведает правая рука, что творит левая».

Поэтому Карташев даже с легким сердцем вынул отдельно лежавшие в бумажнике деньги и положил их на стол.

– Ха... ха... – весело пустил он.

Шацкого вдруг смутила эта именно непринужденность Карташева. Он сконфуженно и напряженно замигал своими маленькими глазами.

– Мой друг, ты не умеешь... Так порядочные люди не делают... Если ты хотел помочь, то должен был дать все...

– Кто тебе мешает? – ответил Карташев.

– Что? – нерешительно спросил Шацкий и вдруг, быстро вытащив свой бумажник, вынул сотенную и бросил ее на стол. Но сейчас же карикатурно вскочил, оперся на стол, закрыв одной рукой деньги, точно хотел их взять назад, и так посмотрел на Карташева и на Ларио, точно сам не понимал, что с ним делается.

– Миша!.. – умилился Ларио.

– Пошел вон!! – заорал вдруг благим матом Шацкий.

Он ураганом стал носиться по комнате. Кровь прилила к его лицу. Он испытывал отвращение и к Ларио, и к Карташеву, и к Тюремщице. Он упал на кровать и несколько мгновений лежал с закрытыми глазами.

– Грабят!!! – закричал он в порыве бешенства.

Ларио и Карташев переглянулись.

– Миша, возьми деньги, – сдержанно произнес Ларио.

Шацкий молчал.

– Конечно, возьми, – сказал Карташев, – ну, дай десять, пятнадцать рублей.

– Дай десять, пятнадцать рублей, – передразнил его Шацкий... – оставьте меня в покое. Карташев и Ларио заговорили между собою.

– Послушай, – говорил Карташев, – но ведь прежде всего ей следует лечиться. Самое лучшее позвать бы Корнева...

– Я согласен, – ответил Ларио.

– Собраться бы с ним обсудить. Сегодня – что? Среда, так в пятницу... в шесть часов...

– Отлично.

Шацкий поднялся с кровати. Лицо его было уже спокойно.

– Честному человеку нельзя жить на свете, – проговорил он задумчиво.

– Миша, возьми назад деньги.

– Пошел вон! – спокойно ответил Шацкий... – Нет, с вами в Сибирь попадешь... Едем в оперетку...

– А в Александрино?

– Ну, вот... они меня окончательно убьют... Можешь ты мне сделать одолжение, ехать именно в оперетку?..

– За твое великодушие я согласен с тобой хоть к черту, – ответил Карташев.

Шацкий утомленно кивнул головой.

– Одевайся.

– Господа, что же вы? Чаю...

– Нет, нет, с этим подлецом я больше секунды не могу быть, – торопил Шацкий.

Карташев и Шацкий оделись.

– Спасибо, Миша! – сказал Ларио, провожая их.

– Убирайся, убирайся...

– Го-го-го, – смущенно шурился Ларио, когда Шацкий, не желая протянуть ему руки, убежал по коридору, – ты послушай, Миша, твой друг, граф Базиль, так бы не поступил.

– Может быть, может быть... с такими господами, как ты, все может быть.

– Миша, это, наконец, обидно; или давай руку, или я брошу тебе в морду твои деньги, – вспыхнул Ларио.

– Ну, вот... Я говорил... На тебе руку, и черт с тобой!

– Ну, вот так лучше.

– У! животное...

– Ну, прощай, – крикнул снизу лестницы Карташев.

– Прощай... Прощай, Миша, – крикнул Ларио.

– Пошел вон, – раздался из темноты уже веселый обыкновенный голос Шацкого.

XIV

– Ну, что? – спросил Шацкий Карташева, когда они по окончании представления выходили из театра.

Карташев промычал что-то неопределенное.

– Нравится, но стыдно признаться, – сказал Шацкий. – Со мной это можно оставить – я не Корнев, я пойму тебя, мой друг. Завтра едем?

– Вряд ли.

– Как хочешь... может быть, утром меня навестишь?

– Нет. Я завтра на лекции.

– А-а! ужинать хочешь?

– Нет... буду письма писать.

– Ну, в таком случае прощай...

Карташев хотел писать домой, но, возвратившись, почувствовал себя в полном нерасположении. Перед ним ярко проносились картины театра, мелькали голые руки и обнаженные плечи красивых актрис, и особенно одна из них не выходила из головы – красивая, стройная, с мягкими, темными глазами певица. Она была одета итальянкой, пела «Viva l'Italia»²⁰, ласково обжигала своими глазами, и Карташеву показалось, что она даже обратила на него особенное внимание...

Перед ним сверкнули ее манящие, добрые глаза, нежная и атласная белизна ее голых рук и плеч, сердце его усиленно забилося, и он подумал, засыпая:

«За обладание такой женщиной, за одно мгновение можно отдать всю жизнь».

Что-то снилось ему. Но утром, когда Карташев проснулся, все сны его подернулись таким туманом, что он почти ничего не мог вспомнить, и только образ матери, холодный и равнодушный, стоял ясно перед ним. Под впечатлением ее образа он почувствовал какое-то угрызение совести, хотел было засесть за письмо к матери, но, по зрелом размышлении, раздумал, потому что письмо под таким настроением вышло бы натянутое, сухое, и мать его, очень чуткая, была бы не удовлетворена. Поэтому, прежде чем писать письмо, Карташев решил привести себя в равновесие. Вдумываясь, что выбило его из колеи, он прежде всего остановился на оперетке и решил больше туда не ходить. Это очень облегчило его. Второе решение было – немедленно после чая отправиться на лекции и аккуратно все их высидеть. Он даже пешком пошел в университет. Он шел и с удовольствием думал о своей решимости.

В передней университета встретила его знакомая толпа швейцаров, ряд длинных вешалок, к одной из которых он подошел и разделся. Карташев оправил волосы, вынул носовой платок, высморкался и, как-то съживившись, зашагал по широкой лестнице наверх, в аудиторию.

Там он опять волновался, опять также слушал знаменитого профессора, опять ничего не понимал и раздражался.

Карташев вдруг вскипел.

«Ну, и не понимаю, я дурак, а вы умны, и черт с вами со всеми, а испытывать постоянное унижение от мысли, что я дурак, я не желаю больше...»

Он решительно встал и вышел из аудитории.

– Подохните вы себе все с вашим умом, – прошептал он, хлопнув дверью.

Выйдя на улицу, Карташев так весело оглянулся, точно вдруг почувствовал себя дома, – не там дома, на далекой родине, а здесь, на воле, в большом Петербурге. Ему вспомнился вчерашний театр, Шацкий, его приглашение, и, взяв извозчика, он поехал к Шацкому.

²⁰ Да здравствует Италия (*итал.*).

Извозчик подвез его к красивому дому на Малой Морской, и по широкой, устланной ковром лестнице, по указанию швейцара, Карташев поднялся в третий этаж. Он позвонил. Вышла горничная в чепце, молоденькая, но важная, и с достоинством спросила:

– Как прикажете доложить?

– Не надо докладывать, – ответил Карташев.

Раздевшись, он оглянулся на горничную, и та, проведя его несколько шагов по широкому, застланному ковром коридору, отворила дверь. Карташев вошел в большую высокую комнату с большими венецианскими окнами, с бархатными малиновыми гардинами и с такой же тяжелой портьерой в другую комнату.

Посреди комнаты стоял стол, на котором лежало несколько номеров газет, «Стрекоза», «Будильник» и несколько французских журналов. Весь пол был застлан ковром. В простенках окон стояли высокие, чуть не до потолка, два зеркала.

Карташев поднял портьеру и увидел Шацкого, задумчиво лежавшего еще в постели. Красивое тигровое одеяло покрывало Шацкого, и из-под него едва выглядывала маленькая черненькая стриженная головка хозяина.

– Кто тут? – испуганно спросил Шацкий, но увидав Карташева, весело вскрикнул: – Артур, мой друг, как я рад тебя видеть!

– И я тоже очень рад тебя видеть.

– Чай, кофе?

Шацкий отчаянно позвонил, и, когда из-за портьеры раздался голос горничной, спрашивавшей, что ему угодно, он крикнул:

– И чай и кофе с печеньями, – прошу поторопиться: мой друг, граф Артур, не любит ждать.

– Сию минуту, ваше сиятельство, – ответила горничная.

– У меня строго, – сказал Шацкий после ухода горничной.

– Но зачем же ты меня произвел в графы? – спросил Карташев.

– Нельзя, мой друг, этикет. У меня никто, кроме графов и князей, не бывает... Единственное исключение составляет Ларио... Я его называю, когда является горничная: «Мой милый оригинал барон...» А правда, красиво – граф Артур?.. Я сегодня же напишу отцу, что имею дуэль с графом Артуром. Он когда-то был в Дерптском университете и любит хвастаться своими дуэлями с немцами-баронами, а не угодно ли с графом Артуром на кинжалах... Это очень эффектная дуэль: коротенькие кинжалы и прямо в грудь... Завтра Корнева попрошу рецепт мне написать...

– Ты напишешь, что ранен?

– Опасно! Лучший доктор, за каждый визит сто рублей. Нельзя, мой друг... этикет... Мы, бедные люди большого света, мы рабы этикета.

Он стал одеваться и потом умываться, причем чистил зубы, ногти, щеткой натирал руки, шею, грудь, спину, фыркал, пускал кругом фонтаны воды и постоянно твердил:

– Ничего не поделаешь... Большой свет требует жертв.

Умывшись, Шацкий нарядился в какой-то пестрый халат, надел маленькую бархатную шапочку, подошел к зеркалу, показал себе язык, оглянул себя сзади, щелкнул над головой пальцами и, проговорив себе под нос «дзинь-ла-ла», обратился к Карташеву:

– Я всегда в этом костюме пишу письма домой... чтобы прийти в надлежащее настроение.

– Кофе и чай, ваше сиятельство, на столе, – раздался голос горничной.

– Граф Артур, прошу вас сделать мне честь, откусать моего хлеба-соли.

И Шацкий, откинув портьеру, стоял в наклоненной, довольно карикатурной позе, ожидая, пока Карташев пройдет в столовую.

Горничная почтительно стояла у дверей.

Шацкий подошел к столу и сделал пренебрежительную гримасу.

- Мне кажется, что гренки недостаточно поджарены, – проговорил он как бы про себя.
- Прикажете доложить madame, ваше сиятельство?
- Не надо... можете идти.

Когда горничная вышла, Шацкий спросил Карташева:

- Прилично?
- Вполне.

– Мерсі, мой друг. В моих огорчениях ты единственный, кто утешает меня... Пожалуй-ста, – предложил он, подвигая кофе и печенье.

Напившись вкусного кофе, закулив папироску, Шацкий обратился к Карташеву:

– Не желаешь ли, мой друг, сигар? У меня есть порядочные... не скажу, хорошие... Мой друг Базиль привез мне из Гаваны ящик, и какая дешевизна, всего восемьдесят рублей сотня! Я думал, что мне придется выбросить их в окно, но, представь себе, оказались сносными...

Не рискуя ставить своего приятеля в неловкое положение в случае, если бы у него не оказалось сигар, Карташев дипломатично отказался.

- Тогда, может быть, хочешь на кушетке поваляться?

– Это с удовольствием, – ответил Карташев и, подойдя к кушетке, повалился на нее. – Тошица смертная, – произнес он, закладывая руки за голову.

– Мой друг, ты, кажется, не в духе? – спросил Шацкий и участливо наклонился к Карташеву. – В чем дело? Денег? Мой кошелек всегда к твоим услугам.

– Мерсі, мне не надо денег, – соврал Карташев. – Понимаешь, в чем дело... Я ничего не понимаю, что читают на лекциях...

- Только-то... смущаться от таких пустяков... а я совсем решил не ходить на лекции.

- И я сегодня решил то же самое.

- Я никогда не сомневался, что ты умный человек, – снисходительно ответил Шацкий.

- Понимаешь, какой смысл ходить...

- Понимаю, понимаю...

- ...когда ничего не понимаешь...

- Понимаю, понимаю.

– Надо сначала дома будет поработать, чтоб приучиться понимать, по крайней мере, этот китайский язык.

- Не стоит, мой друг.

- Ну, как не стоит? – надо же когда-нибудь...

- Ничего не надо. Поверь мне, что порядочному человеку ничего этого не требуется...

Вот: порядочные манеры, хорошие знакомства, уметь фехтоваться, верхом ездить, записаться членом яхт-клуба, – это я понимаю. Кстати, ты читал «Рокамболя»?

- Никогда.

- Очень и очень милая книга. Хочешь, почитаем вслух.

- Ерунда ведь.

- Никогда. Очень тонкая штука и знание большого света... Хочешь? Попробуем.

И Шацкий, улегшись на другой диван, взял «Рокамболя» и начал читать. Пробыло час, два, три, четыре, пять, пока, наконец, приятели оторвались от чтения.

- Такая чушь, – сказал, потягиваясь, Карташев, – а не оторвешься.

- А-га! Я тебе говорил. Теперь отправимся к Мильбрету и после обеда опять за чтение.

- Отлично.

По возвращении с обеда приятели опять расположились на диванах и продолжали чтение. Когда в коридоре пробило восемь часов, Шацкий отложил книгу и сказал:

- Ну, а теперь, Артур, пора в театр.

Карташев нерешительно встал, нерешительно оделся вслед за Шацким и только на лестнице сделал слабую попытку воспротивиться:

– Что ж это – каждый день?

– Мой друг, что за счеты между порядочными людьми.

И, покотившись от смеха, Шацкий схватил за руку смеявшегося Карташева и весело потащил его за собой по лестнице.

– Надо хоть рinсе-пез купить, – сказал Карташев, – а то плохо видно.

– А-а... это необходимо!

– А ты?

– Я хорошо вижу, мой друг.

Раздевавший их у Берга солдат назвал Карташева, как и Шацкого: «Ваше сиятельство».

– Ты отчего же угадал, что он тоже граф? – спросил Шацкий.

– Помилуйте, ваше сиятельство, сразу видно, – ответил солдат.

И, рассмеявшись, друзья отправились в буфет. Карташев на ходу вытер свое рinсе-пез и, надев его на нос, почувствовал себя очень хорошо и устойчиво. Ему показалось даже, что у него явилось такое же выражение, как у того студента с белокурыми волосами. Теперь и он мог бы так же свободно и спокойно идти куда угодно. Он не мог отказать себе в удовольствии проверить свои ощущения и, направляясь в ту сторону буфета, где стояло зеркало, окинул себя внимательным взглядом.

– Хорош, хорош, – проговорил Шацкий, – красавец... по мнению коров, – добавил он вдруг.

– Надеюсь, ты не завидуешь? – спросил Карташев, смутившись и не найдясь, что сказать.

– Мой друг... преимущество глупости в том, что ей никогда не завидуют.

Карташев обиделся.

– В чем же проявляется моя глупость?

– Человек, который не проявляет ума, тем самым проявляет свою глупость.

– Ну, а ты чем проявляешь свой ум?

– Тем, что переносу терпеливо глупость.

– Свою?

– Все равно, мой друг, не будем говорить о таких пустяках.

– Не я начал, ты...

– Еще бы... Начинают всегда старшие, а младшие им подражают.

– Ну, уж тебе я не подражаю.

– Мы, может быть, оставим этот разговор и пойдем в партер?

– Как хочешь.

– Так мил и великодушен... *comme une vache espagnole...*²¹

– А ты остришь, как и подобает такому шуту, как ты.

– Ты сегодня в ударе.

– А ты нет.

– При этом мы оба, конечно, правы, потому что оба врем.

– Ах, как смешно, – пожалуйста, пощекочи меня.

– Мой друг, стыдно...

– С тобой мне ничего не стыдно, – покраснел Карташев.

Шацкий сделал пренебрежительную гримасу.

– Ты груб, как солдатское сукно.

– Я тебя серьезно прошу, – вспыхнул и запальчиво заговорил Карташев, – прекратить этот дурацкий разговор, иначе я сейчас же уеду и навсегда прекращу с тобой всякое знакомство.

– Обиделся наконец, – фыркнул Шацкий.

– Пристал, как оса.

²¹ как испанская корова... (франц.)

– Ну, бог с тобой, – мир...

Карташев нехотя протянул свою руку.

– Ну, Артюша, миленький... А хочешь, я тебя познакомлю с итальяночкой?! Ну, слава богу, прояснился... Нет, серьезно, если хочешь, скажи слово – и она твоя. Я повезу вас в свой загородный дом, устрою вас там, и мы с Nicolas станем вас посещать...

Приятель вместе с публикой вошли в длинную, на сарай похожую залу театра и уселись в первых рядах. Звзвизнула занавесь, заиграл оркестр из пятнадцати плохих музыкантов, раздались звонки, и, как в цирке, одна за другой, один за другим выскакивали на авансцену и актрисы и актеры. Они пели шансонетки с сальным содержанием, танцевали канкан и говорили разные пошлости. Все это смягчалось французским языком, красивыми личиками актрис, их декольтированными руками и плечами и какой-то патриархальной простотой. Одна поет, а другая, очередная, стоит сбоку и что-то телеграфирует кому-то в ложу. Собьется с такта поющая, добродушно рассмеется сама, добродушно рассмеется публика, дирижер рассмеется, и начинают сначала!

– Твоя, – сказал Шацкий громко, когда итальянка подошла к рампе.

– Тише, – ответил Карташев, вспыхнув до ушей.

Взгляд итальянки упал на Карташева, и легкая приветливая улыбка скользнула по ее губам.

– Видел! – вскрикнул Шацкий.

– Тише, нас выведут...

Карташев замер от восторга.

В антракте Шацкий спросил:

– Кстати, знаешь, что ей сорок лет?

– Ты врешь, но если бы ей было и шестьдесят, я симпатизировал бы ей еще больше...

– Это легко сделать: подожди двадцать лет.

– Она вовсе не потому мне нравится, что она молода, красива и поет у Берга на подмостках. Напротив – это отталкивает, и мне ее еще больше жаль, потому что я уверен, что нужда заставляет ее... Разве пойдет кто-нибудь охотно на такую унижительную роль? Нужда их всех заставляет, но ее жаль больше других, потому что она милое, прелестное создание, ее мягкая, ласковая доброта так и говорит в ее глазах, так и просит, чтоб целовать, целовать их...

– О-го!.. одним словом, ты, как все влюбленные, потерял сразу и совершенно голову и с удовольствием взял бы итальянку себе в горничные.

– Дурак ты, и больше ничего! это богиня... я молился бы на нее на коленях.

– Ну, а что бы ты сказал, если бы увидел свою богиню на коленях гусара?

– Этого не может быть, не было и никогда не будет.

– Никогда?

– Ну, что ты спрашиваешь таким тоном, точно знаешь что? Все равно я тебе не поверю и только буду очень невысокого мнения о твоей собственной порядочности.

– Нет, я и не желаю сказать ничего. Я ее не видел, но из этого еще ничего не следует. С этого момента я буду следить за ней а la Рокамболь... Постой, вот отличный способ убедиться... Останемся до конца спектакля и выследим, с кем она поедет.

– Согласен.

– И пари: кто проиграет, угощает ужином. Я говорю, что она поедет не одна.

– А я говорю – одна.

Когда кончился спектакль, Шацкий и Карташев остались в вестибюле и долго ходили в ожидании.

– Идет! – сказал наконец Шацкий, заглянув в коридор.

У Карташева так громко забилося сердце, что он слышал его удары.

Итальянка, закутанная в простенькую ротонду, вышла из коридора, скользнула взглядом по Карташеву, на мгновение остановила на нем свои приветливые темные глаза и, выйдя на подъезд, позвала извозчика.

– Подсади, – приказал Шацкий.

Карташев бросился к извозчику. Как в тумане, мелькнули перед ним ее бледное красивое лицо, ее выразительные глаза, его обдало каким-то особенным, нежным, как весна, запахом духов, его всего охватило безумное желание чем-нибудь выразить свой восторг – броситься ли под лошадь того ваньки, на которого она садилась, или поцеловать след ее маленькой калоши, кончик которой он успел заметить, подсаживая ее. Но он сдержал себя, и только когда итальянка проговорила своим певучим голосом: «Merci, monsieur», – он снял с головы шапку и низко поклонился.

Когда он поднял опять голову, итальянка уже отъехала.

– Миша, я умираю, – произнес Карташев, опускаясь на ступеньки подъезда.

– Едем скорей за ней, и ты еще раз ее высадишь.

– Нет, это будет пошло и нахально. Я не поеду, но я умру здесь, не сходя с места, потому что никогда ничего подобного я не испытывал.

– Да, она честная женщина, – сказал серьезно Шацкий, – и она уже любит тебя... Руку, мой друг, и едем ужинать.

– Едем. Но я умер, меня нет... Я остался на этом подъезде. Ты видел все?

– Все видел. Она любит тебя, и она будет наша.

– Моя, ты хотел сказать?

– Твоя, твоя.

– Миша, можно ведь за нее жизнь отдать?

– Можно.

– Стоит, Миша?

– Стоит, стоит.

– А заметил ты ее скромную ротонду?

– Все заметил. Едем ужинать...

Они взяли извозчика и поехали.

После ужина Карташев, которому было не до сна, спросил:

– Разве почитать еще? спать что-то не хочется.

– С удовольствием, – ответил Шацкий. – Едем ко мне и на всю ночь.

– Отлично! Какая глупая книга, а присасываешься к ней, как пиявка.

– Зачем, мой друг, ругать то, что доставляет нам удовольствие, – это уже неблагодарность.

– Согласен, – ответил Карташев. – Ну, а итальянка? Милая! Ах, Миша, я бы две жизни отдал за одно мгновение.

– Две сотенных.

– Миша, не говори таких пошлостей.

– Ну, бог с тобой... А знаешь, давай а la Рокамболь похитим ее... Понимаешь: она выходит вечером... подъезжает карета... два замаскированных господина подходят к ней и говорят таинственно: «Мы ваши друзья, вам грозит опасность, вам необходимо ехать с нами...» Хоп! Ты садишься с ней, я на козлы, и мы скрываемся от всего света. Вот это был бы действительно шик!.. Хочешь?.. По рукам, что ли?! Ну, значит, не любишь... И не стоит с тобой об ней и разговаривать. Завтра же я ей скажу, чтобы она на тебя не обращала внимания.

– Завтра, к сожалению, у нас заседание по поводу Тюремщицы.

– Глупости, хоть под конец, а надо попасть, а то итальяночка обидится.

– Ты думаешь?

– Наверно.

Друзья залились веселым смехом.

– Подумает, что я ей изменил? – спросил Карташев.

– Ну, конечно! – ответил Шацкий, сходя с извозчика.

Войдя к себе и раздевшись, Карташев и Шацкий заказали чай и принялись за чтение. Читали по очереди.

В шесть часов утра Шацкий предложил немного заснуть. Карташев не прочь был и продолжать, но на Шацком лица не было. Он весь сделался какой-то зеленый. Друзья проснулись в двенадцать часов. Сейчас же после кофе чтение возобновилось и продолжалось без перерыва до пяти часов. Так как в шесть часов Ларио и Корнев уже должны были приехать к Карташеву, то Шацкий и Карташев отправились обедать. После обеда Карташев поехал к себе, а Шацкий с таинственным видом заявил, что идет куда-то.

Прощаясь с Карташевым, он на вопрос: «Куда?» – только приложил палец к губам.

– Приедешь сегодня?

– Не знаю, мой друг, ничего не знаю. Все это покрыто таинственным мраком.

И Шацкий с соответственной физиономией скрылся за угол улицы, а когда Карташев отъехал, спокойно вернулся к себе домой.

Карташев приехал домой и в ожидании гостей прилег на диван. Его разбудили прибывшие Корнев и Ларио.

Корнев был торжествен и серьезен, Ларио грустен. Корнев упрекнул прежде всего Карташева за легкомыслие – как он мог серьезно подумать, что он, Корнев, может поставить какой-нибудь диагноз. Затем Корнев рассказал, как для этого он попросил одного окончившего медика поехать с ним, как он осмотрел Тюремщицу и как оказалось, что у Тюремщицы в полном разгаре чахотка.

– Никакой надежды, – кончил Корнев, – вероятнее всего, этою же осенью все кончится во время ледохода, это время – самый мор для всех таких... Да и лучше...

Карташев вспомнил кроткий, робкий взгляд Тюремщицы и вздохнул:

– Несчастливая!

– Жаль, жаль девочку, – сказал Ларио. – А добрая была девочка... И от Марцынкевича, бедненькую, в последний раз с таким скандалом вывели...

– Что ж, она знает свою судьбу? – спросил Карташев.

– И знает и не знает, – ответил Корнев, садясь на диван и принимаясь за свои ноги, – как обыкновенно в таких случаях. Перед осмотром говорит: «Хоть осматривайте, хоть не осматривайте, а уж я знаю, что не жилица здесь», а кончился осмотр – смотрит, глаза бегают, спрашивает: «Ну, как же по-вашему?» Доктор замялся, а она в слезы: «Ох, не жилица я!» Стал утешать, говорит, что, если лечиться, – пройдет, – повеселела, слезы вытерла, вздохнула и говорит: «Дай-то господи...» Обыкновенная история... За пять минут до смерти окончательно поверит своему выздоровлению и будет уверять всех, что теперь все прошло... А потом сразу бац, и готово.

– Как же теперь с ней быть?

– В клинику, конечно. Какие уж там машинки, меблированные комнаты... Если можно, похлопочем – даром ее... только субъект ничего интересного не представляет, а уж нельзя будет даром, тогда двадцать пять рублей в месяц: ее денег хватит ей...

– Не хватит, опять можно собрать, – сказал Карташев.

– Я вот, может, урочишком разживусь... не все же голодать, как собака, буду, – проговорил Ларио.

– Все время будешь, – уверенно сказал Корнев. – Ведь ты, как птицы небесные, о завтрашнем дне не помышляешь: есть – спустил.

– Да, вот ты бы посидел в моей шкуре, – ответил Ларио, – три рубля, рубль – какие это деньги? да и то когда попадет! Не больно на них устроишься: только и спустить их по ветру.

А были бы деньги, жил бы и я. Ведь жил же в гимназии, когда урочишки были... Прилично жил... Костюмчик приличный... Пиджачок этакий, коротенький, помнишь?.. Очень мило... Пива каждый день бутылочку...

– А-а! покровитель несчастных, – приветствовал ласково Корнев входившего Шацкого. – Всегда приличный, с иголочки, вечно свеж, изыскан и мил...

Шацкий остался очень доволен приветствием Корнева. Он сейчас же впал в свой обычный шутовской тон. Он как-то весь собрался, уродливо поднял свои плечи и, торопливо поздоровавшись со всеми, начал быстро, озабоченно бегать по комнате.

– Все дела, князь, – в тон произнес Корнев, наблюдая Шацкого. – Высшие государственные соображения...

Шацкий мельком взглянул на Корнева и озабоченно продолжал бегать по комнате.

– Вы бы все-таки, граф, присели, а то ваша долговязая фигура не в достаточно эффектном виде, знаете, выходит... получается грубое впечатление этакого, сорвавшегося с цепи...

– Вы, мой друг, имеете склонность забываться.

– Лорд, я прошу вашего снисхождения... Только все-таки сядьте, пожалуйста, а то я чувствую, что не выдержу тона.

– Извольте.

Шацкий повалился на кресло, вытянул длинные ноги и спросил:

– Ну, как же насчет Тюремщицы?

– Ее дело дрянь, – ответил Корнев, принимаясь за ногти. – Она умрет.

– Нескромный вопрос, доктор, – мы все умрем, – когда она умрет?

– Может быть, осенью, может быть, весной.

– Может быть, летом, может быть, зимой, – понимаю... Продолжайте... что мы с ней делаем?

– В клинику помещаем...

– Ну, тогда согласен, что она умрет, и непременно эту же осенью. Пожалуйста, не принимайте за комплимент... Кстати, у меня есть друг... Он опасно ранен на дуэли... Понимаете, кинжалом в грудь... Вы не будете ли добры прописать ему какой-нибудь рецепт... Предупреждаю, это может упрочить за вами репутацию знаменитого врача.

– Лорд, я бедный студент первого курса только и никаких рецептов не даю... Я бы посоветовал вашему другу... кто он?

– Это секрет.

– У него есть рубль?

Шацкий рассмеялся.

– У него половина России.

– Тем лучше. Посоветуйте ему от этой половины России отделить рубль... Понимаете, рубль... и пусть пошлет за врачом...

– Нет ничего легче, как дать глупый совет... Примите это к сведению. Мой друг в таком положении, что ни один смертный его не может видеть. Понимаете?

– Ничего не понимаю.

– Тем хуже для вас. Ну, что в таких случаях дают?

– Это зависит от раны, – пустая царапина – довольно простых компрессов...

– Нет, этого мало... Не можете ли рецептик написать?

– Нет, этого нельзя.

– Вы теряете единственную возможность сделаться знаменитостью.

– Что делать, лорд. Я давно помирился с скромной ролью в жизни... мы люди маленькие.

Это вам...

– Ну, конечно... А жаль, жаль... Вы окончательно не можете дать рецепт?

– Окончательно.

– Так гибнут люди из-за эгоизма других. Бедный Николай! Ты умрешь, а я останусь среди этих отвратительных эгоистов.

– Да расскажите толком, в чем дело? – спросил Корнев.

– Да просто ему пришла идея... – начал было Карташев.

– Мой друг, я про твою итальянку молчу.

– Ого, – произнес Корнев, – я вижу, у вас завязались настоящие дела. Это что еще за итальянка?

– О, это секрет!

И Шацкий сделал весело-таинственную физиономию.

– Понимаете... Темная ночь... Дождь как из ведра... Карета... Два замаскированных господина... Дама под вуалью... Хоп в карету... На рассвете два джентльмена... дуэль... на кинжалах... Хоп... ранен... кровь... «Доктора, доктора!..» доктора нет... «Помогите, помогите!..» Никого... Дождь как из ведра... Вздох, и все кончено.

– Ничего не понимаю.

– Еще бы... Сам Рокамболь и тот опешил, как черт... стоит и ничего не понимает... Убил, сам видел труп... и вдруг стоит перед ним живой... Вот, батюшка мой, какие дела бывают... А вы рецепт дать не хотите...

– Позвольте... Уж если вы хотите рецепт, вы должны меня посвятить. Доктор всегда должен быть в курсе тайн – все доктора друзья дома.

– Граф Артур, как вы думаете?

– Я думаю, он прав.

– Гм, а этот подлец? – указал Шацкий на Ларио.

– Зачем же подлец? – спросил Карташев. – Он ведь наш милый оригинал барон.

– А-а!.. Наш милый барон... Как я рад... Здравствуйте... – И Шацкий принялся трести руку Ларио.

– Здравствуйте, здравствуйте, – отвечал грубо Ларио, – как поживаете, кого прижимаете, с пальцем девять, с огурцом двенадцать...

– Ну, извольте с ним разговаривать!.. То есть никакой порядочности. Ну, как же с тобой разговаривать?

– Нет, ты действительно груб, – вмешался Корнев, обращаясь к Ларио. – Нельзя же, надо помнить, что ухо графа не привыкло.

– Ну, слава богу, хоть один порядочный человек нашелся. Вашу благородную руку, доктор.

– С удовольствием. Но я горю нетерпением, князь, узнать содержание этой таинственной драмы.

– Это надо обдумать... Граф Артур, ваше мнение?

– Я думаю, что мы, лорд, между друзьями.

– Что вы думаете насчет отобрания клятвы... на мече, например?

– Я думаю, достаточно простого слова...

– Слова благородного джентльмена? Вы думаете, Рокамболь ограничился бы только этим?

– Да.

– В таком случае я согласен. Расскажите им, граф...

– Дело в том, что мы уже два дня путаемся с этим... князем... Читаем «Рокамболя», шляемся к Бергу.

– Влюбляемся в актрис и умираем на подъезде. Продолжайте...

– Больше ничего нет.

– А итальянка?

– Певица, – ответил Карташев.

- Обоюдная и нежная любовь, – пояснил Шацкий.
- И уже обоюдная? – спросил Корнев.
- Да врет он.
- Как врет, а подъезд?
- Ерунда! Помог сесть ей на извозчика.
- О-го! – сказал Корнев.
- И после этого получил один из тех взглядов, за которыми следует лишь любовь или дуэль.
- Ну, а карета, таинственные джентльмены, дуэль?
- Фантазия князя.
- Зачем же рецепт?
- Князь находит, что его родители питают к нему недостаточно теплые чувства.
- Очень милая редакция... Граф, *mes compliments*...²² Продолжайте.
- И Шацкий от удовольствия положил ноги на стол.
- И вот, чтобы убедиться в силе этих чувств...
- Именно, – подтвердил Шацкий, поворачиваясь на бок.
- ...Князь хочет прибегнуть... к некоторому давлению...
- *Parfait, mon comte*.²³
- ...и уведомить родных, что по обычаям высшего света...
- Слушайте! слушайте!.. Так говорят в парламентах...
- ...он вынужден был драться на дуэли с графом Артуром на кинжалах и был при этом ранен в грудь...
- Совершенно верно.
- ...А в подтверждение посылает им рецепт знаменитого эскулапа, который берет за визит сто рублей.
- Верно!
- Да... вот что, – произнес разочарованно Корнев. – Но как по-вашему, это... это не пахнет, мой милый князь, шантажом? – спросил он раздумчиво.
- Дерзко и наивно... Позвольте вас спросить: кто наследник моего отца: я или вы? Надеюсь, я. Моему отцу семьдесят пять лет, и у него столько денег, что его это не стеснит; он дрожит над каждым грошом, а я, его сын, который мог бы тратить пятнадцать тысяч, вынужден собирать милостыню... Кроме того, у него состояние и моей матери, которое уже исключительно мое... По вашим буржуазным правилам лучше затеять с ним процесс... Ну, а мы, люди большого света, предпочитаем не огорчать старика и брать от него деньги в том виде, как он может их давать.
- Но почему же вы надеетесь, что он, отказывая вам в необходимом, даст деньги на такую ерунду?
- А это мой секрет.
- Я думаю, секрет заключается в том, – пояснил Карташев, – что старый князь такой же поклонник большого света, как и наш князь.
- Граф, вашу руку.
- Другими словами, – сказал Корнев, – оба, и старый и молодой, помешаны на большом свете.
- Как вы находите, граф, этого господина?
- Я не нахожу слов, князь, – ответил Карташев. – Он просто ее выдерживает роли.
- Именно.

²² поздравляю... (*франц.*)

²³ Прекрасно, граф (*франц.*).

– Да, князь, с вами выдержать роль, – вздохнул Корнев, – трудно, знаете... гороху надо поесть сначала.

– Ну вот... впрочем, оставим этот разговор... Что бы вы сказали, если бы вам предложить почитать «Рокамболя»? – спросил Шацкий.

– Нет, уж избавьте.

– Читал? – спросил Карташев.

– Не читал и ни малейшего желания не имею этой ерунды читать.

– Но ты себе представить не можешь, как это интересно, – воскликнул Карташев. – Стыдно, а интересно так, что не оторвешься.

– И что там может быть интересного?

– Я вот и сам так думал, а начал, и вот уже два дня...

– Странно...

– Жаль, что нет здесь этой книги...

– Она здесь, – ответил а la Рокамболь Шацкий и принес из передней несколько объемистых книг.

– Послушай, – обратился обрадованный Карташев к Корневу, – куда тебе торопиться? Подари сегодняшний вечер, так в быт, нарочно для того, чтобы самому убедиться.

Корнев колебался.

– Да ведь глупо как-то...

– Мой друг, – сказал Шацкий, – помирись с мыслью, что от глупости все равно никуда не денетесь.

– Это как прикажете понимать?

– Очень просто. Жизнь, вообще говоря, глупость?

– С одной стороны, конечно.

– Ну вот: с одной стороны! Поверьте, что со всех... А если жизнь глупость, то и все, что мы делаем, тоже глупость... то есть мы-то делаем всегда только одни умные вещи, конечно, но в итоге получается всегда одна большая глупость. А потому надо попробовать делать глупости – что тогда выйдет? А вдруг умная вещь?

– Оригинально, но не убедительно. Пожалуй, я согласен, – отвечал Корнев.

– А ты, Ларио? – спросил Карташев.

– Я с удовольствием, – я люблю, знаешь, все эти пикантные похождения. Я, положим, читал, но давно, и с удовольствием послушаю.

– Интересно? – спросил Корнев.

– Очень, – ответил Ларио.

– Ну, черт с вами, – согласился окончательно Корнев. – «Рокамболя» так «Рокамболя»...

И Корнев повалился с ногами на диван.

– Так я тебе расскажу сначала, – предложил Карташев и принялся вперебивку с Шацким передавать прочитанное.

Когда Карташев кончил, он спросил:

– Ну что? Интересно?

– Ничего себе, – ответил Корнев.

– А вот в чтении послушай... Кто читать будет?

– Ну, начинай, а там по очереди, – ответил Корнев.

Карташев сел в кресло, подвинул лампу, откашлялся и начал.

– Ну что, Вася? – спросил Шацкий через час.

– Интересно, – снисходительно ответил Корнев.

Еще через час Шацкий повторил вопрос.

– Вы своими вопросами мешаете слушать. Давай я почитаю.

Чтение продолжалось до восьми часов утра, пока не окончили всего «Рокамболя».

– Возмутительно! – проговорил Корнев и стал быстро одеваться.

– Послушай, Вася, – предложил Шацкий, – идем теперь ко мне...

– Я иду домой, – ответил бесповоротно Корнев.

– Вечером к Бергу... Итальяночку...

– Не желаю.

– Ну, и ступай... Идешь ко мне? – обратился Шацкий к Карташеву.

Карташев нерешительно стал думать.

– Идем. Видишь, грязь какая у тебя... Накурено. У меня кофе напьешься, спать ляжешь, а там... дзин-ла-ла... Ну, одевайся... А ты? – обратился Шацкий к Ларио.

– Нет, я домой.

– Конечно.

Одевшись, компания вышла на лестницу.

Карташев точно опьянел от чтения, бессонной ночи, итальянки. Спускаясь и проходя мимо звонка какой-то квартиры, он вдруг изо всей силы дернул за этот звонок. В то же мгновение он бросился к противоположной квартире, дернул и там.

– Послушай, что ты? ошалел? – запротестовал было опешивший Корнев, но, сообразив, что сейчас отворят двери, бросился за мчавшимися уже через две ступеньки Ларио и Шацким.

Карташев понесся за ними и рвал звонки всех встречавшихся по пути квартир.

– Мальчишество, глупо... – по временам оглядываясь на него взбешенный Корнев, но мчался вниз; за ним ураганом неслись другие, а там, вверху, уже щелкали засовы отворявшихся дверей, и одни за другими неслись вдогонку компании отборные ругательства.

Когда все вылетели на подъезд, Корнев, раздраженно проговорив: «Глупо, мой друг!» – не прощаясь, пошел прочь, а Шацкий закричал ему вдогонку:

– Вася, есть еще «Воскресший Рокамболь».

– Убирайтесь к черту!.. – не поворачиваясь, крикнул ему Корнев.

XV

Карташев и Шацкий, в видах сокращения расходов, решили поселиться вместе. Для поправления финансов Карташев заложил часы, шубу, сюртучную пару и, помимо матери, попросил у дяди единовременную субсидию в семьдесят пять рублей, которые вскоре и получил.

Друзья исправно посещали Берга, абонировались в библиотеке, читая книги вроде «Вечного жида», «Трех мушкетеров», «Тайн французской революции», «Королевы Марго», «Графа Монте-Кристо».

В течение месяца оба так и не видели ни разу дневного света.

– Может быть, его уж и нет? – говорил Карташев.

– Во всяком случае, это не важно... – отвечал Шацкий.

Но, собственно, настоящее увлечение первых дней той жизнью, какую теперь зажили Карташев и Шацкий, уже прошло у Карташева. Грызло его и сознание праздности и незаконности такой жизни и, наконец, бесцельность ее. Так, с итальянкой продолжались заигрыванья, но дальше взглядов и улыбочек дело не шло, да и не могло идти, потому что уже один билет в третьем ряду был непосильным расходом.

– Мой друг!.. – говорил ему Шацкий, с расстановкой, точно подбирая выражения, что как бы придавало особый вес его словам, – или объяснись... или дай ей понять наконец, что ты... ну не можешь... плох...

– Конечно, плох, – быстро отвечал, краснея, Карташев. – Я любовь понимаю, если могу любимой женщине дать все, а если я не могу...

Шацкий, не сводя прищуренных глаз с Карташева, качал отрицательно головой.

– Все это очень условно... пять сотенных...

И он вынул из портфеля пять радужных бумажек и показал Карташеву.

– Вот таких.

Глаза Карташева смущенно и с завистью смотрели на недостижимое богатство, но он как мог тверже ответил:

– Это не деньги...

– Да-а? – спросил пренебрежительно Шацкий и спрятал деньги назад. – Если хочешь попробовать, возьми. – Он опять вынул деньги и протянул Карташеву. Карташев не знал, шутит Шацкий или предлагает серьезно. Но Шацкий уже снова спрятал деньги, говоря: – Мой друг, я не хочу быть причиной твоей гибели... Она не стоит твоей любви.

– Да я и не возьму твоих денег.

– Конечно!..

– Потому что раньше двадцати одного года не буду иметь своих.

– Жаль, жаль. Я считал тебя более приличным мальчиком. Ты в гимназии выглядел таким... ну, по крайней мере, тысяч на двести... Такой задумчивый, как будто стоит ему только пальцем двинуть, и Мефистофель уж готов к услугам... а ты, в сущности, только жулик. Да, ты падаешь, мой друг... и я боюсь, что ты, наконец, превратишься в простую кокотку... как Ларио: «Дай рубль на память...»

Такие разговоры коробили и раздражали Карташева. Он был опять без денег, надо было или брать взаймы у Шацкого, или прекратить посещения Берга. Он давал себе обещание не ходить к Бергу, но в восемь часов вечера неудержимо рвался следом за Шацким. Шел неудовлетворенный, томился в коридорах деревянного театра, томился в кресле, слушая те же арии, видя те же движения, томился, смотря на ту же толпу поклонников, которые и во время представления, и в антрактах непринужденно кричали, смеялись и пили шампанское.

Все это было недоступно для него, все это было пошло, даже глупо, но все это какой-то уже образовавшейся привычкой тянуло к себе Карташева, так же тянуло, как тянет пьяницу к водке, не давая в то же время никакого удовлетворения.

– В сущности, что нам делать здесь? – говорил иногда в антракте Карташев Шацкому.

– Говори, пожалуйста, в единственном числе, – резко обрывал его Шацкий, – если бы я хотел, то знал бы, что делать.

И Шацкий убегал от унылого Карташева, бегал по коридорам, выкрикивал свое «дзин-ла-ла», останавливался вдруг, расставляя свои длинные ноги, и смотрел, вытянув шею. А когда поворачивались и смотрели на него другие, он смеялся и с новым криком «дзин-ла-ла» несся дальше. Если он налетал на какого-нибудь гремевшего и сопевшего от выпитого коньяку и шампанского марса и тот грубо отталкивал его, – Шацкий на мгновение краснел, мигал усиленно глазами и опять, с новой энергией, отчаянно выкрикивая и ломаясь, стремительно несся дальше.

В своих сношениях с Карташевым он все больше и больше стал походить на прежнего «идиота» Шацкого, малоостроумного, малоинтересного, нахального и бесцеремонного. Между Карташевым и им происходили нередко грубые и резкие стычки, причем Шацкий спокойно язвил Карташева, задевая самые больные места его, а Карташев, сделавшись вспыльчивым, как порох, кричал и ругался.

Но к вечеру мир всегда восстанавливался, и они опять шли оба к Бергу.

Однажды Шацкий после такой ссоры, проснувшись утром раньше обыкновенного, озабоченно умывшись и напившись чаю, куда-то исчез, а Карташев с горя, почувствовав еще большую пустоту, повернулся на другой бок и проспал до его возвращения. Были уже сумерки, когда Шацкий вошел. Он понюхал воздух, окинул взглядом неубранную комнату, застывший на столе самовар и проговорил брезгливо:

– Какая гадость! как свинья... В комнате вонь, черт знает что такое...

Карташев открыл распухшие от сна глаза.

– На что ты похож? Бледный, истасканный...

– Не твое дело, – угрюмо ответил Карташев.

– И это Тёма... красавчик по мнению коров, гордость матери!

– Послушай! – вскипел Карташев.

– Что – драться?! То есть окончательно юнкер какой-то.

Шацкий остановился перед Карташевым.

– Хорош!

Он посмотрел еще, покачал головой, вздохнул и отошел. Немного погодя он уже своим обычным спокойным голосом сказал:

– А я на лекциях был.

Карташев молчал.

– А ты что ж? совсем раздумал ходить на лекции?

– Ты бы нанял квартиру еще дальше от университета, – ответил нехотя Карташев.

– Да-а... я виноват... Ну-с, хорошо... Читай!

Карташев взял из рук Шацкого афишу с анонсом о бенефисе итальянки.

– Что скажешь? – спросил Шацкий, когда Карташев, прочитав, положил молча на одеяло афишу и закрыл глаза.

– Я не пойду, – ответил мрачно Карташев.

– О-о! Мой друг! ты, как Антоний в объятиях Клеопатры, потерял все свое мужество... Артур, мой друг, что с тобой? Где, где то время золотое, когда, беспечный, ты носился на своем Орлике по степям своей Новороссии... Артур! вспомни о предках своих... Владетельный некогда князь Хорват... Потомок мрачных демонов с их нечеловеческими страстями...

И вот последыш их... последнее слово науки, дитя конца девятнадцатого столетия... не вкусивши жизни, уж отошедший под тень ее...

– Перестань ерунду нести.

– О мой друг! ты мрачен, ты, как царь Саул, ищешь меча... Музыку, скорей музыку и чудный голос неземной... Сюда, итальянка, небожительница, и развлеки мне моего Тёму... Тёма! букет итальяночке!

Карташев отвернулся.

– Что?! Ты молчишь! Артур, мой друг! Ну, что же ты?

И Шацкий до тех пор приставал, пока Карташев не ответил тоскливо:

– Оставь! Меня действительно мучит, что мы такую жизнь ведем.

– Мой друг! Нам, с нашим сердцем и умом, мучиться такими вещами?! Оставим это холюям. А мы гении нашего времени, мы проживем иначе. Вспомни Байрона... Манфреда... мрачные скалы, демоны, Фаусты... прочь все это! Мы «дзин-ла-ла»! Поверь, мой друг, мы проживем умнее Манфреда, всех Байронов e tutti guanti...²⁴ Надо жить, пока огонь в крови, пока итальянки еще существуют. Во-первых, букет, во-вторых, карточку, ужин и... будь что будет. Одно только мгновенье, и вся остальная жизнь хлам, никому не нужный... и знаешь, мой друг, все это не больше сотенного билета... Да! вот тебе и деньги. Отдашь, когда можешь. Мой друг, сделай мне одолжение... прошу!

– На букет возьму, а больше ни за что. Но я отдам тебе эти деньги только на рождество.

– Хорошо, хорошо... хоть букет, а там видно будет.

На букет и ленты ушло двадцать пять рублей.

Букет принесли утром в день бенефиса. Карташев и Шацкий проснулись вследствие этого раньше обыкновенного.

– Очень мило, – серьезно говорил Шацкий, держа букет в руке и любуясь им издали. – Нет, за такой букет, пожалуй, итальяночка будет наша.

Карташев начинал допускать такую возможность.

Вид и нежный аромат букета целый день навевали какое-то приятное очарование. Точно сама итальянка была уже у них в комнате, точно у них были настоящие связи со всем этим закулисным миром, как у тех постоянных посетителей первых рядов и литерных лож, которых они ежедневно встречали в театре.

Но надежды, возлагавшиеся на букет, не оправдались: другой, громадный с широкими лентами букет затмил карташевский.

– Она не знает, какой именно мы поднесли; это еще лучше, – энергично поддерживал Шацкий смутившегося Карташева.

Но итальянка, свежая, возбужденная, улыбалась не в сторону Карташева, а в литерную ложу, где смущенно сидел в числе других молодой, изящный гусар, красивый, с выразительными глазами. Карташев растерялся, оскорбленный до глубины души. Ему хотелось встать и крикнуть ей и всем, что он знает теперь всю ложь и фальшь и ее и всех этих разряженных дам. Но он не двинулся с места.

Подавленный, сидел он перед спущенной занавесью первого антракта, и ему не хотелось оставаться в театре, не хотелось уходить, не хотелось думать, смотреть, жить. Вся жизнь казалась такой пустой, глупой, не имеющей никакой цели... Провалиться и забыть навеки, что и жил, чтоб и тебя забыли...

– Мой друг! ты окончательно оскандалил меня!.. – приставал Шацкий, – ты меня в такое положение поставил, что хоть в воду.

– Да оставь же ты, пожалуйста, – с досадой ответил Карташев, – не всегда же твое, наконец, шутовство интересно.

²⁴ и всех прочих... (итал.)

– Шутовская роль, кажется, не мне принадлежит во всей этой истории.
– Да ты просто глуп, мой друг.
– Позволь, – резко перебил Шацкий, – почему я глуп? Потому, что твой друг, или твой друг, потому что глуп?

Карташев вскочил.

– Позволь мне пройти...

– Изволь, изволь, – быстро подбирая ноги, пропустил Шацкий. – Но, надеюсь, ты хоть здесь не будешь драться.

Карташев ничего не ответил и, выйдя в коридор, стал одеваться. В дверях, когда он уже оделся, показалась фигура Шацкого, который, по-видимому, небрежно смотрел на публику, а на самом деле внимательно следил за Карташевым и не верил, что он действительно уйдет.

Карташев, встретив взгляд Шацкого, еще решительнее направился к выходу.

Приехав домой, он заказал самовар и вытащил из лекций какую-то немецкую брошюру в шестьдесят страниц. С словарем в руках он сел за письменный стол, взял в руки карандаш и начал читать, стараясь ни о чем другом больше не думать.

Но с первых же прочитанных фраз начался знакомый сумбур в ощущениях, и рядом с этим сумбуром в голову ворвались совершенно ясные мысли об итальянке, о Шацком и о всей их несложной жизни.

– Но ведь это кабак... это голый разврат! – с отчаянием твердил он себе.

И в то же время без мысли, без рассуждения тянуло его назад в театр, так тянуло, что слезы готовы были выступить из глаз, и так отчетливо и так ясно по слогам и по мотиву напевались слова:

*Folichon, fo-li-cho-nette...*²⁵

Так и бросил бы все и опять поверил бы и этой простоте, и этой патриархальной, беззаботной веселости, опять пошел бы и, сев уютно рядом с Шацким, сказал бы:

– Зачем нам ссориться? жизнь так коротка. Будем верить и не будем стараться проникать за кулисы этой жизни.

Карташев все-таки выдержал характер и не пошел к Бергу в тот вечер. Томясь и тоскуя, он то пил чай, то лежал, то ходил и все мучился, что сегодняшний вечер так-таки и пропадет у него даром.

А на другой день он опять был у Берга и опять по-прежнему стал ходить каждый вечер. Хотя букет и разбил все иллюзии, но осталось что-то ремесленное: в театре было скучно, а если не шел – было еще несноснее.

Итальянка не обращала на него больше никакого внимания. Карташев чувствовал унижение и, всматриваясь, уже как посторонний зритель, не мог не признавать, что лицо ее загоралось настоящим счастьем, когда в ложе появлялся красавец юноша в гусарской форме.

Ярко, с мучительной болью, в какой-то недостижимой рамке блеска и прелести вырисовывались перед ним и этот полный жизни гусар, и итальянка. Под впечатлением таких мыслей Карташев говорил Шацкому:

– А ты знаешь, когда мне было десять лет, меня тоже требовали в пажеский корпус.

– Ну и что ж?

– Мать не пустила.

– Напрасно.

– Теперь бы я уж был...

– Обладателем итальянки...

²⁵ Весельчак, весельчонок... (франц.).

– Я не желаю ее.
– Не желаешь? А ну-ка, посмотри мне прямо в глаза, как матери посмотрел бы... Стыдно, Тёма, ты научился врать...

Однажды Карташев попросил у Шацкого денег.

– Сколько? – спросил тот.
– Пятнадцать.
– Зачем тебе столько?
– Мне надо... билет в театр...
– Я тебе возьму.
– Да что ты мне, опекун, что ли?
– У меня мелких нет...

Шацкий и дальше стал давать по мелочам, – водил его с собой в театр, но от выдачи на руки более крупной суммы под разными предложениями уклонялся.

Однажды Карташев, чтобы избавиться от неприятной и постоянной зависимости, начал настоятельно требовать двадцать пять рублей.

– У тебя теперь есть мелкие...

Шацкий замолчал, поднял брови и с соответственной интонацией спросил:

– Ты знаешь, сколько ты уже взял?
– Сорок рублей... Двадцать пять на рождество, а пятнадцать, как получу, отдам.
– А жить на что будешь?
– Не твое дело, – покраснел Карташев.
– Конечно... но дяде ты написал бы?

Карташев молчал.

– Если ты напишешь дяде, я дам тебе хоть сто рублей.

– Я не желаю больше с тобой разговаривать.

– Я должен тебе сказать, мой друг, – вспыхнул Шацкий, – что ты делаешься окончательно несносным.

Приятель поссорился.

Шацкий оделся и ушел. Перед уходом ему надо было что-то взять там, где сидел Карташев, и он, протянув руку, сухо сказал:

– Извините.

Со дня на день Карташев ждал повестки из дому, и чего бы ни дал, чтобы получить ее сегодня и, выкупив вещи, неожиданно явиться в театр и сесть в первом ряду кресел, назло Шацкому.

Но ни повестки, ни денег не было.

Пробило восемь часов. Шацкий, очевидно, в театре и теперь окончательно не придет. Надо достать денег и идти в театр, – надо без рассуждений. Висело на вешалке только осеннее пальто, которое, при общем закладе его вещей, забраковал Шацкий.

Карташев взял пальто, чтобы заложить в первой попавшейся кассе ссуд, но неожиданно встретился в передней с Корневым.

– Васька! Какими судьбами? – обрадовался Карташев.

– Да вот, к тебе. Билет на завтра в «Гугеноты» брал... Ну, думаю, чаю напьюсь.

Карташев повел Корнева к себе.

– Ты что ж сегодня не в оперетке?

Карташев весело улыбнулся.

– Я больше к Бергу не хожу.

– Вот как. Чего ж это?

– Надоело.

– Очень рад за тебя. Я никогда не мог понять этого влечения. Ну, я понимаю еще оперу, драму: там есть чем увлекаться. Но что такое оперетка? ведь это просто балаган, даже физического удовольствия нет. Я понимаю... ну тех, гусаров, им доступно все это, а ведь вы облизываетесь только...

Лица Корнева побледнело и перекошилось: он смотрел и едко и смущенно своими маленькими заплывшими глазами в глаза Карташева. Но в голосе его было столько убежденности, искренности и благорасположения в то же время, что Карташев не только не обиделся, но под впечатлением всех своих неудач ответил:

– Да, конечно.

– Ты скажи, ты был хоть раз в опере?

– Нет; да там никогда ведь билетов нет.

– Надо заранее. Я для этого сегодня и отправился. Жаль, а то бы я и тебе взял. Я, положим, имею один билет для товарища... Дать разве тебе...

– В раек? – нерешительно спросил Карташев.

– Ну, конечно... Послушай, Карташев, оставь ты холуям морочить самих себя. Право, и в райке прекрасно, а сознание, что при этом и по средствам сидишь, должно только усилить удовольствие. Я не знаю, впрочем... так моя философия, по крайней мере, говорит мне.

– Да, конечно, это важно. Что ж? Я согласен.

Корнев просидел у Карташева весь вечер. Время в разговорах летело незаметно.

– Черт его знает, – говорил Корнев, – скучная жизнь... Сегодня, как завтра, завтра, как сегодня... Я теперь перечитываю классиков...

– Мало того, что мы сами классики?

– Какие же мы сами классики? Грамматику Кюнера вызубрили...

Корнев усиленно грыз ногти, напряженно смотря перед собой.

– Глупая жизнь, – с горечью снова заговорил он. – Целый ряд вопросов... В литературе какой-то туман, недосказы, намеки и проза, проза... щедринские зайцы. Помнишь: «Сиди и дрожи, пока я тебя не съем, а может быть, ха-ха, я тебя и помилую».

– Откуда это?

– Ты, однако, ничего не читаешь... Волк зайца поймал, а есть ему не хочется, ну и говорит: сиди и дрожи. А у зайца зайчиха должна родить. Просит заяц волка отпустить его. Отпустил на честное слово.

– Ну? – заинтересовался Карташев.

– Ну, прибежал назад заяц. Сидит опять и старается и виду не подать, что вот он, заяц, слово сдержал.

Корнев опять принялся за ногти.

– Мог и не сдержать, – произнес он раздумчиво.

– Какой остроумный Щедрин!

– Да-а... Это, впрочем, не мешает тебе его не читать. Все «Рокамболей» жарите?

– Нет, надоело уж и это.

– Пора.

Пришел Шацкий.

– А-а! это вы... – небрежно ломаясь, протянул он Корневу руку в перчатке.

– Ну-с, вы собачью-то кожу снимите сперва.

Шацкий начал медленно стаскивать перчатки.

– Ну-с и что ж? Режете, потрошите и за счастье считаете, не вытирая рук, завтракать потом?

– Во-первых, не кричите.

– Я, кажется, у себя дома... а во-вторых?

– Во-вторых, оставьте нас, маленьких людей, лучше в покое.

– Понимаю...

Шацкий понюхал воздух.

– Сплетнями пахнет... успели...

Шацкий хотел сесть в кресло, но в это время Карташев, вскочив, бледный и взбешенный, бросился на него, и Шацкий, вместо того чтобы сесть, желая быстро подняться, не удержался и с креслом опрокинулся на пол.

Падение Шацкого расхолодило гнев Карташева, но Шацкий взбесился.

– Что ж ты наконец, – сказал он, поднимаясь, – окончательный разбойник?

– Молчать!..

– Ну, вот вам, извольте, – обратился Шацкий к Корневу.

– Я решительно ничего, господа, не понимаю.

– Да эта скотина воображает, что я без него тут тебе сплетничал на него...

– Об вас ни одного слова не было.

– Да и нечего говорить было, хоть бы и хотел. Что я тебе денег не дал? Во-первых, тебе на букет двадцать пять рублей дал; во-вторых, пятнадцать ты взял; в-третьих, когда ты опять попросил, я только и сказал, чтобы ты опять дяде написал...

Карташев стоял растерянный, сконфуженный и не смотрел на Корнева.

– Я сам отказался, во-первых, от твоих денег, а во-вторых, я сказал тебе, что отдам деньги не сегодня-завтра.

– Только пятнадцать.

– Все сорок.

– Это новость...

– Ну, так вот знай; а в-третьих, с получением денег я от тебя уезжаю.

– Не удерживаю.

– Тоже идиот и я был... с таким господином связаться.

– Я думаю, теперь, когда между нами все кончено, можно бы и не ругаться?

– Ну, мне пора, – поднялся Корнев и, не смотря на Шацкого и Карташева, стал прощаться.

– Прощайте, прощайте, доктор, – говорил Шацкий таким тоном, как будто ничего не произошло.

– Билет я тебе передал? – сухо спросил Корнев.

– Да; деньги тебе сейчас?

– После.

– Это куда? – поинтересовался Шацкий.

– В оперу...

– В небеса, в рай, конечно...

– Да, конечно.

– По чину?

– Да, да... – с презрением, скрываясь за дверью, ответил Корнев.

Карташев пошел его провожать. Они молча дошли до дверей.

– Это что за букет еще? – угрюмо спросил Корнев.

– Да эта дурацкая, глупая история.

Карташев смущенно наскоро рассказал, в чем дело.

Корнев сосредоточенно выслушал.

– Я советую тебе действительно поскорее разъехаться с этим господином. Ведь так не долго и... совсем разменяться.

– Пустяки!.. Ну, посмотрел на другую жизнь. Я непременно разъедусь, как только получу деньги.

– Тебе много надо? Завтра я тебе рублей пятнадцать мог бы дать.

– Я тебе сейчас же, как получу, отдам. Я тогда сейчас же и перееду. Здесь просто клоака.

– Ну, так я завтра в театр принесу. Прощай... Послушай, ты все-таки не давай себе воли. Что ж это такое? чуть что, драться лезть. Это уж совсем какое-то юнкерство.

– Да с ним совсем с толку собьешься. Язвит, бестактный, бесцеремонный.

– А когда захочет, может другим быть. Ну, прощай.

Карташев возвратился в комнату спокойный, скучный и задумчивый. Не было больше ни гнева, ни раздражения; хорошо ли, худо ли, но вышло так, что приходилось сказать ему решительно: конец.

Шацкий тоже что-то чувствовал и без ломаний, усталый и скучный, раздевался. На другой день они оба не сказали ни слова друг другу, – вечером Шацкий отправился к Бергу, а Карташев в Мариинский театр.

Сперва он сидел там грустный, равнодушный.

В антрактах Корнев напевал ему вполголоса арии и твердил:

– Прекрасная опера...

– И мне нравится... – после третьего действия заявил Карташев, – обыкновенно новую вещь мне надо раз десять прослушать, прежде чем что-нибудь пойму, а тут как-то я и музыку, и мысль, и, именно через мысль, музыку понимаю... Танец цыган.

Корнев вполголоса начал напевать.

– Ах, какая прелесть! – вспыхнул Карташев.

В передаче Корнева ему еще больше понравился мотив.

– Нежная, больная мелодия... И под нее засыпают страсти, но чувствуется, что вот-вот искра, и они опять с новой силой вспыхнут... И все так тонко... Декорации... Ты заметил сумерки: нежный, нежный просвет, а темные, страшные тучи уже ползут, надвигаются: одна половина города уже охвачена мраком, а другая еще в ясных, золотистых сумерках. В этом контрасте такая непередаваемая, какая-то неотразимая сила: и покой, идиллия, и как будто эти тучи и не надвинутся... А они уж тут... И музыка, и больные страсти больных людей... Как будто в жару, в бреду... Нет, хорошо... прелесть. Осмысленная опера.

Корнев слушал восторженные похвалы Карташева, грыз ногти, что-то думал и, когда Карташев кончил, сказал:

– Вот видишь, как ты можешь чувствовать, а сам из Берга не выходишь...

– Ах, какая прелесть! Ах, какая прелесть! – говорил Карташев, одеваясь после оперы. – Я весь в огне этого зарева, музыки, страстей!.. Туда бы, Вася...

– Едем ко мне, – позвал Корнев.

– С удовольствием.

Они вошли в комнату с ароматом и впечатлениями театра. У Корнева на столе лежал Гете, и Карташев стал перелистывать книгу.

– Ах, вот откуда привел на первой лекции наш профессор.

И Карташев прочел громко:

*Так возврати те дни мне снова,
Когда я сам в развитии был,
Когда поток живого слова
За песнью песню торопил,
Когда я видел мир в тумане,
Из ранней почки чуда ждал...*

– А мы уж не ждем, Вася, из почки чуда...

*Я был убог и так богат,
Алкая правды, и обману рад.*

*Дай тот порыв мне безусловный,
Страданий сладостные дни,
И мощь вражды, и пыл любовный,
Мою ты молодость верни!*

Карташев продолжал перелистывать «Фауста».

– Как-то чувствуешь свою молодость, когда читаешь такие книги... Нет, как только перееду на новую квартиру, сейчас же примусь за классиков: Гете, Шекспира, Гейне, Виктора Гюго, Жорж Занд...

– Ты «Консуэло» ее читал?

– Нет.

– Очень поэтичная и художественная вещь, и интересная.

– С «Консуэло» и начну... Нет, в самом деле, надо работать... И знаешь, я перееду на Петербургскую.

– Кстати... возьми деньги... Только сейчас же, как получишь, отдай...

– Сейчас же, Вася... Так в таком случае я завтра же и пойду искать комнату.

Карташев прошелся.

– И отлично... пятнадцать рублей хватит вполне... По крайней мере, начну экономничать, а то совестно просто... Нет, окончательно решено... – прибавил он после некоторого раздумья.

Он весь охватился своей новой мечтой жить на Петербургской стороне, где так тихо, уютно, где все так напоминает родину, где он будет читать классиков, будет работать над своим образованием... Он приедет домой, к матери, блестящим, образованным...

Глаза его загорелись от новой, пришедшей ему вдруг мысли.

– Васька, я бросаю курить.

– Да ты хоть не сразу все это, а то навалишь на себя разных обуз и сам же себя сделаешь несостоятельным...

– Ничего... – ответил Карташев, – даю честное, благородное слово, что бросаю курить...

– Ну... – огорченно махнул рукой Корнев.

– Васька, смотри...

Карташев открыл форточку, вынул кожаный портсигар, показал Корневу и весело швырнул его за окно.

– Послушай... Ну это уж глупо... Отдал бы кому-нибудь...

– Черт с ним... Теперь шабаш...

Карташев сидел немного смущенный, но довольный.

– Рылю, – спутал ему волосы Корнев. – Ну, теперь закури...

– Нет...

На другой день Карташев прямо от Корнева отправился на Петербургскую сторону искать квартиру, все в том же возбужденном, удовлетворенном настроении.

Ему хотелось курить, и Корнев подзадоривал:

– Покури...

Но Карташев с видом мученика твердо повторял:

– Нет, нет.

– Ну, молодец... – говорил ласково Корнев.

XVI

На Кронверкском проспекте, против Александровского парка, на воротах чистенького деревянного домика с мезонином Карташев увидел билетик о сдающейся комнате и, войдя во двор, позвонил у подъезда.

Ему отворила молодая горничная с большими черными глазами, которые смотрели с любопытством и интересом.

– Здесь отдается комната?

– Здесь, пожалуйста...

Карташев вошел в прихожую и, пока раздевался, слушал звонкие трели разливающихся канареек. Было тихо и уютно.

Там дальше кто-то играл на рояле, и по дому отчетливо неслись нежные звуки «Santa Lucia».

На Карташева пахло деревней, когда, бывало, под вечер, Корнев и его сестры где-нибудь у пруда пели среди догорающей зари и аромата вечера:

*Лодка моя легка,
Весла большие...
Sa-a-nta Lu-ci-a.*

«Вот хорошо, – подумал Карташев, – и музыка, и какая прекрасная».

Его ввели в нарядную, потертую, но опрятную гостиную, где стояла очень пожилая, как будто усталая, худая дама, с наколкой, в нарядном темном платье, точно в ожидании гостей.

Карташев неловко поклонился под внимательным взглядом дамы.

– У вас комната сдается.

– Позвольте узнать, с кем имею честь говорить?

Карташев отрекомендовался.

Карташев сел и выдержал целый экзамен.

Может быть, он влюблен? В таком случае она не может допустить никаких дамских посещений. Может быть, он курит? Тогда, к сожалению, она тоже не может, потому что свежий воздух дороже всего. Может быть, он пьет, кутит, играет в карты; может быть, у него товарищи слишком шумные?

Ответы оказались удовлетворительными.

– Ну, в таком случае вам и комнату можно показать... Пожалуйста...

Комната, куда вошел Карташев, была очень оригинальна. В ней стояли старинные бархатные кресла, старомодный с громадными ручками диван, как будто открывавший свои объятия, зеркало с высокими стеклянными подсвечниками в бронзовой ажурной оправе, массивный письменный стол со множеством ящичков. Только кровать да два-три стула говорили о чем-то более современном и своей скромностью составляли резкий контраст с остальной обстановкой.

Карташев с удовольствием прошелся по комнате, заглянул в окно, а хозяйка стояла у дверей и, казалось, с высоты своих каких-то мыслей пренебрежительно смотрела и на эту комнату, и на юного Карташева, который чему-то радовался, волновался, чего-то точно искал и ждал там, где она уж ничего не искала и не ждала. Ее слегка меланхоличный, слегка пренебрежительный вид как бы говорил: «Не такие, как ты, искали... в свое время и тебя все та же пыль времени покроет...»

Она вздохнула.

– Мне очень нравится комната... Можно узнать ее цену? – спросил Карташев.

– Десять рублей.

– Я согласен... Вот деньги...

Он подал десять рублей.

Карташев отдал деньги и вышел с хозяйкой из комнаты.

– Верочка! – крикнула хозяйка.

И когда явилась уже знакомая горничная с хорошеньким лицом и большими бархатными, какими-то пустыми глазами, дама сказала:

– Проводи господина... Он теперь наш... комнату нанял, – пояснила она.

Верочка подарила Карташева выразительным взглядом, но хозяйка, заметив этот взгляд, опять задумалась.

– Еще два слова. Верочка, выйди... – И, когда та, вильнув хвостом своих юбок, вышла, она сказала Карташеву: – Верочка, в сущности, моя воспитанница и очень порядочная девушка. За нее сватался лавочник здесь... может быть, я и соглашусь... Я ставлю условием, чтобы никаких ухаживаний у меня не было в доме.

Карташеву показалось, что слишком много условий уже поставлено ему, и он уже не с такой охотой, а значительно суше, но согласился и на это.

– Ну, тогда пожалуйста, с богом.

Верочка проводила его.

– До скорого свиданья!.. – ласково сказала она.

– До свиданья, – ответил Карташев. – Я часа через два приеду.

Карташев ехал и был очень доволен: так патриархально и так не похоже на все окружающее. Оригинальная хозяйка... оригинальная Верочка и комната оригинальная, старинная... а в кабинете хозяйки, через который он проходил, громадный камин, вроде тех, которые попадают на гравюрах вальтер-скоттовских романов... Да, будет уютно и хорошо.

Дома на столе Карташева застала повестка на семьдесят рублей. Эти двадцать рублей прибавки были как нельзя более кстати. Шацкий спал еще. Карташев отправил повестку к дворнику с просьбой сейчас же засвидетельствовать и начал поспешно укладываться.

Когда принесли повестку, он съездил получить деньги и, возвратившись, приказал выносить вещи.

Шацкий, неумытый, скучный, ходил по комнате.

– Позволь с тобой рассчитаться.

– Мой друг, к чему же торопиться.

– Я получил деньги и уезжаю.

Карташев отсчитал ему сорок рублей.

– Прощай, Тёма, – сказал грустно Шацкий, – можно навещать тебя?

– Пожалуйста, очень рад буду...

– А то оставайся... в оперетку...

Карташев только рукой махнул. Шацкий шутил, но в голосе его звучало сожаление. Жаль вдруг и Карташеву стало и Шацкого, и всю прожитую с ним жизнь, и на мгновение потемнела яркая тишина Петербургской стороны. В памяти встала вся налаженная жизнь их вдвоем, театр Берга, итальянка. Карташеву хотелось и возвратить все это назад, и какая-то сила уже толкала его вперед. Он шагал в раздумье по лестнице, искал в голове какого-нибудь утешения и вдруг вспомнил:

– Сейчас же абонируюсь и возьму «Консуэло».

XVII

Карташев, перебравшись и пообедав у хозяйки, осведомился о библиотеке и, несмотря на метель, отправился пешком, абонировался и, взяв «Консуэло», возвратился домой. От непривычной ходьбы и всей окружавшей его обстановки он ощущал в себе тоже что-то деловое и, раздеваясь, озабоченно и деловито попросил Верочку подать ему самовар.

Войдя в комнату, он зажег лампу и, присев в бархатное кресло у стола, с удовольствием и в то же время с грустной покорностью судьбе открыл книгу.

Там, за окном, все стонала буря, а там, за бурей, где-то ярко горели керосиновые лампочки деревянного театра, где пела итальянка.

Прости-прощай, веселая жизнь. Теперь кто-то играл за перегородкой... теперь Верочка смотрела своими бархатными глазами; теперь он далеко от соблазнов в своей уютной комнате, и уже выступают перед ним из книги чужие места красивого яркого юга, какой-то загорелый с голыми ногами юноша, хижина девушки, смуглой красавицы юга, с красным платочком на голове. Еще глуше завывала буря, и точно дальше уносила она и итальянку и Шацкого.

Напившись чаю, Карташев продолжал чтение. Вдруг он вспомнил, что надо написать письмо к матери и, оставив книгу, с удовольствием сел за письмо.

За большим письменным столом так удобно было сидеть и так хотелось писать. Теперь он знал, что письмо выйдет и большое и душевное, вышло и веселое. Его подмывало еще писать, описать свои похождения с Шацким, но он не знал, как отнесется к этому мать... писать же хотелось, и Карташев, взяв на всякий случай новый лист, начал писать, не зная сам, пошлет или нет это новое письмо матери.

«Какие глупости я нишу, однако, – мелькало в его голове, – а главное, все выдумываю».

Карташев продолжал писать, думая: «Все равно, я потом порву».

Он писал о себе и о Шацком. Но как-то выходило, что это был не он и не Шацкий, и это было так смешно, что Карташев иногда фыркал, стараясь удержаться, чтоб не услышали его за дверью, чтоб не увидала его смеющимся, войдя вдруг, Верочка и не приняла за помешавшегося.

Перед ним носились какие-то образы, какие-то одна смешнее другой сцены, какие-то лица, живые, точно он с ними давно был знаком и знает про них все до самой подноготной, знает, что делают они, думают, говорят. Исписав несколько листов, Карташев вдруг остановился и подумал:

«А вдруг я писатель?»

Он писатель?! Из-под его пера, может быть, уж выходят образы живых людей, вечно живых, которые будут существовать и тогда, когда и его уж не будет. И такой коротенькой показалась ему его собственная жизнь: сколько таких коротеньких жизней проходят, как тени, не оставляя никакого следа? Стоит ли жить для того только, чтобы с органической жизнью кончилось все, жить, чтобы только есть, пить, спать; думать о том, чтобы и завтра было бы что есть и пить...

Карташев откинулся в кресло и смотрел перед собой.

В ночной тишине пробило два часа. А завтра он хотел в восемь уже встать. Карташев быстро разделся, лег и потушил лампу.

Но долго еще он ворочался, пока заснул наконец тревожным, прерывистым сном.

Под утро ему снилось, что он плывет по волнам. В этих волнах какая-то очаровательная музыка; они то расходятся, то снова набегают на него, принося с собой еще более чудные звуки.

«Это Вагнера сказка „Мила и Нолли“,» – думает, охваченный какой-то особой негой, Карташев и просыпается.

День светлый, морозный. Солнце играет в комнате. Музыка за дверью, торжественная, сильная, несется по дому. Какая-то особая гармония и радость жизни.

«Что случилось со мной радостное?» – думает Карташев.

Ах, да! он писатель!

Что-то точно распахнулось, какие-то образы опять ворвались, – легкие, воздушные, нежные, как музыка, и Карташев лежал уже в живых волнах этих образов, этой музыки.

Он писатель! Эта музыка уже зовет его к перу; Верочка подает ему самовар; он будет писать, а там...

Карташев вздохнул всей грудью; нет, никогда он не думал, что жизнь может быть так прекрасна, может так захватить, как теперь захватила вдруг его. И курить уж не хочется... нет, еще хочется.

Дни шли за днями. Работа кипела. Карташев не смущался больше тем, что у него истощится материал.

Иногда его охватывал такой наплыв образов и мыслей, что он бросал перо и убегал в парк. Там он ходил; ветер шумел голыми вершинами, но он не чувствовал ни ветра, ни зимы.

Он поднимал голову, смотрел в серое небо и видел другое, которое было в нем, внутри него, – безоблачное, прекрасное небо и яркое солнце. Под этим солнцем жили его герои, и он не уставал переносить их на бумагу.

И он писал и писал, забыв обо всем. Изредка навещал его впавший в полную нищету Ларио, еще реже Корнев. Карташев кормил Ларио, давал ему денег и ни слова не говорил ни ему, ни Корневу о своем писании.

Приехал и Шацкий как-то. Карташев и его принял с загадочным, рассеянным видом.

– Да, вот... – говорил Шацкий, осматривая комнату Карташева, – я так и знал, что этим кончится... и счастлив?

– Вполне.

– А итальянка?

– Она умерла для меня.

– Все кончено?

– Да.

– Да, да... – вздохнул Шацкий. – Ну, что ж, декламируй теперь, мой друг!..

И Шацкий с напускным пафосом произнес:

*Ну, хорошо, теперь ты власть имеешь!
Сбей этот дух с живых его основ
И низведи, коль с ним ты совладеешь,
Его до низменных кругов.
Но устыдись, узнав когда-нибудь,
Что добрый человек в своем стремленьи темном
Найти сумеет настоящий путь...*

– Вот он, добрый человек... нашел настоящий путь...

Шацкий пренебрежительно фыркнул и смотрел на Карташева.

Карташев смотрел на Шацкого и думал в это время о какой-то сцене из своих писаний.

– Но что с тобой, мой друг... я боюсь, наконец, за тебя?

Он заходил справа, заходил слева, оглядывая внимательно Карташева.

– Qu'est ce qui a change cet imbecile?²⁶

²⁶ Что изменило этого повесу? (франц.)

Но Карташев только весело смеялся.

– Нет, ты окончательно погиб... Ну, прощай...

– Прощай, Миша.

– А итальянка теперь еще больше похорошела... спрашивала о тебе... Да, да... Но теперь уж Nicolas твой заместитель.

– Такого же дурака валяет?

Шацкий рассмеялся, но потом грустно сказал:

– Осмеивать самого себя... что может быть обиднее?

– Господи, что ж ты себе думаешь? Ты, с твоим сердцем и умом... в парижском фраке...

– Если не ошибаюсь, это из «Старого барина»?

– Все равно...

– Одевайся, забирай вещи и едем... живо! на старую квартиру, а вечером к Бергу.

– Нет, Миша.

Шацкий замолчал и устало задумался, смотря в окно. День подходил к концу; из окна виднелся освещенный парк; лучи солнца скользили по снегу, окрашивая его в розоватый отсвет. Что-то будто шевелило душу, звало куда-то. Точно сны детских дней, какие-то грезы светились в этом розовом снеге. Карташев вздохнул всей грудью.

– Ну, а твои дела как? – спросил он.

– Плохи, мой друг, – грустно ответил Шацкий, – если не пришлют мне денег, я впаду в нищету...

– Пришлют...

– Конечно... Ну, едешь? Нет? В таком случае прощай. Я чувствую, что задыхаюсь здесь...

Карташев с Верочкой проводили Шацкого.

– Что ж ты делаешь? – спрашивал уже весело Шацкий, пока Верочка отпирала дверь.

– Занимаюсь, читаю, слушаю музыку, разговариваю.

Шацкий не слушал Карташева. Расставив ноги, он смотрел в упор на Верочку, и его лицо расплылось в глуповатую улыбку. Верочка наконец не выдержала и потупилась от разбиравшего ее смеха.

Шацкий остался доволен.

– Недурна, – говорил он Верочке в лицо и, любуясь ею, твердил: – Мило... Даже очень мило...

И вдруг закатив глаза, уродливо перегнувшись, он прошептал:

– *La donna e mobile...*²⁷

Верочка фыркнула, а Шацкий, уже уходя, кивал головой с видом покровителя и говорил:

– Да, да... Прощай, голубушка, прощай, Артур... будьте счастливы...

Верочка захлопнула дверь, с улыбкой посмотрела на Карташева и остановилась, точно ожидая чего-то.

– Верочка, а где хозяйка? – спросил смущенно Карташев.

Верочка даже присела от смеха.

– Да нету же... – ответила она.

– Верочка, какая вы хорошенькая...

Карташев обнял и поцеловал ее... Верочка прижалась к нему и, побледнев, смело смотрела прямо в его глаза. Ноздри ее слегка раздувались.

– Но ведь вы невеста?

– Чья невеста! Все она врет...

И Верочка теперь уже сама быстро и еще сильнее прижалась, поцеловала в губы Карташева и так же быстро исчезла.

²⁷ Сердце красавицы склонно к измене... (итал.)

Карташев растерянно вошел в свою комнату.

XVIII

Всю неделю Карташев писал, ухаживал за Верочкой и мучился сознанием, что нарушил свое обещание хозяйке, мучился тем более, что и не любил Верочку настолько, чтобы чувствовать какое-нибудь оправдание своим заигрываниям с ней.

А Верочка шла навстречу всяким ласкам и раздражалась, что Карташев только целует ее.

– Как будто вы весь порох уже расстреляли, как старики целуете, – говорила раздраженно Верочка.

– Верочка, вы говорите, сами не понимая, что: гадость очень недолго сделать.

– Га-а-дось?! Убирайтесь вы...

– Верочка, вы хорошо понимаете, что говорите?

– Да что мне здесь понимать?

– Как что?

Она внимательно смотрела в глаза смущенному Карташеву и говорила:

– Так, дурачок вы какой-то... Идите вот под церковь копеечки собирать.

– Верочка!

– Да ну... право же... Вот постойте, я вам игрушку куплю, вам и ее довольно будет...

И на другой день Верочка купила ему пятикопеечную голенькую фарфоровую куколку.

Она с злой улыбкой, мимоходом, сунула ему, когда он лежал еще в кровати, эту куколку за пазуху рубахи и в то же время изо всей силы ущипнула его за бок.

Карташев скривился от боли и, схватив Верочку, посадил ее возле себя.

– Ну, и что ж? – насмешливо вызывающе спросила Верочка, в то же время поблднев и смотря в его глаза.

– Верочка, вы глупенькая, – прошептал, целуя ее, Карташев.

– Целуйте куколку, – вырвалась энергично Верочка и, хлопнув дверью, вышла из комнаты.

Карташев остался в кровати и напряженно, смущенно, в сотый раз обдумывал свои отношения к Верочке. И в сотый раз он чувствовал, что ему хотелось только целовать ее, как красивого ребенка, а не как женщину, страсть которой была ему даже неприятна: когда она бледнела, прижималась и жадно смотрела на него, все увлечение Карташева сразу улетучивалось.

После возбуждения в писании на Карташева напало сомнение.

Однажды он лежал, и вдруг, как молния, сверкнуло в его голове: да писатель ли он?

Карташев вскочил и испуганно подошел к своему столу. Неужели только обман один и все это возбуждение и страсть писания? Но он видел в образах тех, кого писал, – они были живые, полные жизни были эти образы. Но живыми они были, может быть, только там, в его воображении, а на бумагу могли попасть только неудачные снимки?

Карташев тревожно присел и начал перечитывать свою рукопись. Худо, хорошо... хорошо, худо... Карташев все напряженнее перечитывая написанное... Поправить здесь надо, непременно надо... Карташев принялся исправлять торопливо, нервно.

Кончив, он начал опять сначала перечитывать свою рукопись.

Но теперь все подряд уже казалось ему какой-то невозможной мазней.

«Да ведь это же суздальская работа!» – пронеслась вдруг отчаянная, унижительная мысль в его голове, и Карташев изо всей силы толкнул свою рукопись. Она полетела со стола на пол и рассыпалась.

Карташеву сдавило что-то горло.

Он быстро оделся и выскочил из дому. Он бросился в парк.

Те же деревья, те же дорожки...

Ах, нет, не те. Теперь это уже не друзья, теперь они только свидетели его пережитой славы. На душе Карташева стало вдруг так пусто, что он испугался.

«Ну, что ж? Ну, не писатель. Не все же писатели... живут же... Не надо даже и думать об этом... Вот надо остричься...»

И Карташев быстро зашагал из парка в, выйдя на проспект, стал, ни о чем не думая, озабоченно искать парикмахерскую.

Тот же проспект, те же домики... Еще вчера он шел по этой улице, и жизнь была так полна, все так улыбалось, все так ярко, гармонично отдавалось в душе... а сегодня... он такая же жалкая бездарность, как и вся эта ничтожная толпа, обреченная на прозябание, обреченная только чувствовать и всегда молчать. Он хуже всякого из этих прохожих, потому что они и не мечтали, а он мечтал, пробовал и теперь знает, что он бездарность.

Убегая от себя, Карташев был рад, когда нашел парикмахерскую и когда его усадили перед зеркалом.

Жгучий порыв боли прошел. Он сидел грустный, задумчивый, окутанный простыней и всматривался в зеркало; его красивые волосы падали ему на лоб, и он думал: «Когда я бездарность, что во всем этом?» И опять жгучая тоска охватывала его.

Он опять был на улице. В догорающем морозном дне точно чувствовался какой-то намек на далекую весну. И в небе была весна: синее, нежное, ласкающее, оно проникало, охватывало знакомым ощущением. Но что толку в том, что он, Карташев, чувствует это небо? Будь небо во сто раз синее, загорись оно всеми переливами своих красок, умри он, Карташев, от восторга, хоть растворишься в этом небе: что толку, если он не писатель, если он не может передать своих ощущений, не может заставить других переживать то, что переживает сам?! И жгучее, горькое чувство с новой силой хватало за сердце Карташева; слезы подступали к глазам, и, как ни удерживался он, они капали по щекам, а он быстрее убегал, стараясь в сумерках улицы незаметно вытереть свои слезы, тоскливо-испуганно твердя:

– Как это глупо, глупо, глупо...

Серо и скучно потянулись тяжелые дни томления для Карташева. Рукопись в беспорядочной груде лежала на столе, лекции валялись в углу, и все это мучило, тревожило и отравляло все существование Карташева. Он брал книгу и не мог читать: то другие писали, люди таланта, а он – бездарность.

Ах, чего бы он ни дал, чтобы быть теперь у себя в деревне, заниматься хозяйством и забыть там самого себя, чтобы незаметно как-нибудь добраться до того мгновения, когда наконец и его очередь придет сойти с этой непонятной для него сцены жизни. Но и в деревне только ведь кулакам и житье...

Проснувшись как-то, Карташев заставил себя идти на лекции.

Он уныло, с тоской в душе, опять подходил к знакомому зданию. Это длинное здание казалось теперь ему таким же мертвым, как и он сам.

В маленькой аудитории собралось человек пятнадцать студентов; вошел профессор и начал что-то читать. Кончик его тонкого носа тихонько шевелился, шевелились губы, слова, как горошек, сыпались изо рта, издавая какой-то звук при своем падении. Маленькие слоновьи глаза иногда поднимались и смотрели в сонные лица студентов, и тогда контраст черных глаз и бледного лица профессора был еще резче.

После лекции Карташева всего разломило, и с туманной головой и горячими руками он ходил по высокому темному коридору.

Какой-то гул, чем-то пахнет: это запах какого-то старого тела, сотню лет обитающего здесь. Это и не тело и не запах: экстракт запаха, экстракт какого-то скучного, безнадежного старья.

Следующая лекция государственного права читалась в конференц-зале, где много было воздуха, было светло и хорошо сиделось на соломенных стульях. Пришло человек пятьдесят. С некоторыми профессор радушно поздоровался. Кружок столпился около него и слушал: государственное и международное право предполагается сделать необязательным предметом. Какой-то мимический разговор, непонятный Карташеву, а профессор уже подходит к столу и говорит:

– Я по этому вопросу дома сегодня укажу вам...

Какие-то счастливыцы бывают, значит, у него на дому.

Идет лекция. Оживленно, звонко, красиво говорит профессор, говорит о Петре Великом, ничего, по-видимому, интересного не сообщает, но отчего с таким интересом некоторые его слушают, переглядываются между собой и улыбаются?

Профессор кончил: веселые аплодисменты, довольные лица. А вот такие же, как и Карташев. Они идут унылые, с пустыми глазами, с пустыми душами, с измятым лицом, идут равнодушные, скучные, неудовлетворенные.

Два каких-то студента говорят, и Карташев старается прислушаться. Говорят о лекции и отыскивают какой-то особый смысл в словах профессора. Каким образом выудили этот смысл эти два студента? Он, Карташев, ничего не выудил и ничего не понял. Но хорошо, что они могут догадаться, а если он не может? Из пятисот человек их десятая часть здесь, и из них он уже не понял, а может быть, и другие такие есть, которые тоже не поняли тонких намеков. Может быть, только эти двое и поняли. Профессор не виноват, конечно, но что это за наука, душа которой, самое интересное в ней – только какой-то непонятный намек, доступный двум-трем аристократам мысли. А остальные? Остальные уйдут в свое время спокойные с аттестатом в кармане. Чего же еще? поступят на службу, и к чему тогда все это? В золотом ринсе-пез и другой в длинном черном рединготе идут с гримасой презрения. Для них, конечно, что все это? Что им Гекуба и что они Гекубе? Им отцы их достанут места и дадут деньги. Они садятся в свой экипаж.

Карташев с завистью смотрел им вслед: их не грызет червь сомнения. Их душа не раздвигается. Ах, зачем его не отправили в детстве в пажеский корпус? Зачем познал он намек на какую-то иную жизнь? Без этого и он был бы теперь удовлетворен, и никуда бы его не тянуло. А теперь тянет и в одну сторону, тянет и в другую, – нет средств для одной жизни, нет подготовки к другой.

И та и другая одинаково не удовлетворяют.

Кружок бедно одетых студентов оживленно весел; прощаются на подъезде и кричат один другому:

– Заходи же за мной.

– Хорошо... он сказал – в семь?

– Ты пораньше приходи, чаю напьемся.

– Андреев, а ты будешь?

Андреев, высокий, худой, страшный, костлявый, с землистым цветом лица, говорит:

– Нет, я сегодня на Выборгской.

– Скажи Иванову, что я рукопись передал.

– Хорошо...

«Иванов, – думал, идя домой, Карташев, – Иванов? Его знают и в университете. Что же такое Иванов?»

«Надо прочесть Жан-Шака Руссо», – тоскливо думает Карташев, вспомнив вдруг разговор в коридоре университета о чем-то по поводу Руссо.

«Необходимо надо прочесть», – страстно загорелось в нем, и он прямо пошел в библиотеку, в которой абонировался.

– Что у вас есть из Жан-Жака Руссо?

– Вот список дозволенных книг.

Карташев посмотрел.

– Здесь нет.

– Я думаю, и в других библиотеках вы не найдете.

Карташев внимательно просматривал каталог «серьезных книг» и взял Шлоссера.

Он шел и думал:

«Прочесть разве весь каталог по порядку, тогда уж все будет в голове из дозволенного хоть».

А не пойти ли ему прямо к Иванову и сказать: «Я хочу быть развитым человеком, укажи мне, что читать, какие книги, где их доставать?»

Карташев пришел домой, пообедал и, войдя к себе в комнату, задумался, что ему делать теперь?

«Пойду я к Корневу, захвачу с собой и свое маранье... А вдруг он скажет, что я писатель?»

Карташев собрал свою рукопись и поехал на Выборгскую.

XIX

Группа Корнева держала в этот день по анатомии частичный экзамен у профессора, умевшего заставлять работать студентов не только за страх, но и за совесть. Несмотря на сухую зубрежку непонятных названий, студенты напереерыв друг перед другом посещали анатомический театр и с бою, назубок, вызубривали трудные названия.

С этими названиями старик профессор умел искусно связывать будущую роль своих слушателей, обращался к студентам, как к докторам: нельзя быть анатомом без знания даже самой скромной аномалии, – жизнь пациента зависит от этого, и без этого знания это будет не хирург, а шарлатан.

Старый профессор был на страже, чтобы не допустить такого шарлатана к делу, к которому почему-либо человек не годился. Это хорошо знали студенты. Просьбы не помогали, но все было приспособлено к тому, чтобы человек узнал свое дело, и главное из этого всего было налицо: сумбура и намеков не могло существовать в деле, где все было ясно и точно, как часы, как сам угрюмый профессор, представитель западного ученого, образ которого будет всегда связан с медико-хирургической академией, профессор, которого как огня боялись студенты и боготворили в то же время, как только можно боготворить человека, несущего нам чистую истину. И когда профессор, мировой авторитет, сурово говорил студенту, осторожно запускавшему свои руки во внутренности трупа: «Господин, снимите ваши перчатки», – студент готов был не только свои руки, но и самого себя погрузить в кишки смердящего трупа.

И, боже сохрани, какая-нибудь брезгливая гримаса или даже брезгливая мысль: угадает, обидится и срежет. Срезет не карьерист, не чиновник, не бездарность: срежет европейская знаменитость, старый профессор.

Корнев получил «*maximum sufficit*»²⁸ и был на седьмом небе.

Он отправился с экзамена в кухмистерскую, а из кухмистерской с Ивановым за какой-то брошюрой к нему.

Иванов по дороге обстоятельно расспрашивал о Горенко и Моисеенко.

– Могу даже последнюю новость вам сообщить, – говорил Корнев, – они жених и невеста, весной сюда приедут, повенчавшись.

– Я знаю... брак фиктивный, чтобы переменить законно опекуна и избавиться от нежелательных лиц.

– Вот как! – изумился Корнев и сосредоточенно принялся за ногти.

– Отучитесь вы от этой дурной привычки, – сказал Иванов, – а то ведь при анатомии это рискованно: трупы, легко заразиться.

– Да, конечно, – озабоченно согласился Корнев, вытер ноготь и опять начал его грызть.

Корнев искоса незаметно всматривался в Иванова; этот маленький, тщедушный человек с копной волос на голове, с какими-то особенными, немного косыми глазами, которыми он умеет так смотреть и проникать в душу, так покорять себе, – страшная сила. Кто мог думать, кто угадал бы это там, в гимназии, когда два лентяя, Иванов и Карташев, так любовно сидели сзади всех рядом друг с другом? Теперь даже и неловко говорить с ним о Карташеве.

– Моисеенко, когда я знал его, – произнес нерешительно Корнев, – не совсем разделял взгляды вашего кружка...

– Он и теперь их не разделяет.

– В таком случае я не понимаю его.

Иванов заглянул в глаза Корневу и ответил тихо:

²⁸ высшую оценку (*лат.*).

– Что ж тут непонятного? важна точка приложения данного момента... у каждого поколения она одна... ведь и вы ее не отрицаете?

– Да... но принципиальная цель...

Корнев замолчал. Иванов ждал продолжения.

– Я все-таки сомневаюсь, – смутившись, как бы извиняясь, неестественно вдруг кончил Корнев.

– Только одно сомнение, и ничего, никаких других чувств нет?

– То есть как? Я думаю, одно только сомнение...

Корнев еще более смутился.

– Я так думаю, по крайней мере... но может быть...

Он вдруг побледнел, лицо его перекошилось, и он через силу проговорил:

– Что ж? может быть, и страх – вы думаете?

Иванов молчал.

Корнев поднял плечи, развел руками и смущенно, стараясь смотреть твердо, смотрел на Иванова.

– Во всяком случае, я всегда...

– Такого случая при данных обстоятельствах, – грустно перебил Иванов, – и быть не может.

Какая-то пренебрежительная, едва уловимая нота чувствовалась в голосе Иванова во все время визита Корнева...

Корнев, с брошюрками в кармане, выйдя на улицу, вздохнул облегченно и побрел к себе. Теперь, перед самим собой же, он спрашивал себя: что удерживает его действительно? Он смущенно покосился на шмыгнувшую в подворотню собаку и огорченно, без ответа, пошел дальше. И «*maximum sufficit*», и все удовлетворение слетело с его души так, точно вдруг потушили все огни в ярко освещенной зале.

– О-хо-хо-хо, – громко, потягиваясь тоскливо, пустил Корнев, когда вошел, раздевшись в передней, в свою комнату.

Он чувствовал хоть то облегчение, что он теперь один у себя в комнате и никто его не видит.

Он лег на кровать.

Вошла Аннушка в новой кофте, для покупки которой ходила в Апраксин. Модные отвороты кофты безобразно торчали, Аннушка выглядывала из своей узкой кофты, как притиснутый удав. Она, громадная, с усилием перегибала шею и осматривала себя, поворачиваясь перед Корневым.

Корнев сосредоточенно грыз ногти, не замечая Аннушки.

Аннушка, идя с Апраксина, была очень довольна покупкой, но теперь на нее напали вдруг сомнения.

– То-то надо бы и другие еще примерить, – озабоченно говорила она, – а я так, какую дали.

В передней раздался звонок. Аннушка бросилась отворять. Вошел Карташев.

– А-а! – точно проснувшись, приветствовал, вставая, Корнев.

– Спал?

– Нет... – нехотя ответил Корнев. – Что новенького?

– Целый скандал, Васька, – я писателем стал.

– Вот как...

– То есть какой там к черту писатель... Писал, писал, потом под стол бросил... А потом решил тебе все-таки прочесть.

– Интересно.

– Плохо.

– Посмотрим... Ну, что ж, читай.

– Так сразу?

– Чего же?

Карташев с волнением развернул сверток, сел и начал читать.

Корнев слушал, думал о своей встрече с Ивановым и иногда вскользь, рассеянно говорил:

– Это недурно.

Карташев кончил.

– Ну?

Корнев неохотно оторвался от своих мыслей, посмотрел, развел руками и сказал:

– Мой друг... Несомненно живо... Я, собственно, видишь ты...

Он опять остановился.

– Видишь... – опять лениво начал Корнев. – Писатель... Ведь это страшно подумать, чем должен быть писатель... если он не хочет быть, конечно, только бумагомарателем. Как мне представляется писатель-беллетрист. Ты беллетрист, конечно... Это человек, который, так сказать, разобрался уже в сумбуре жизни... осмыслил себе все и стал выше толпы... Этой толпе он осмысливает ее собственные действия в художественных образах... Он говорит: вот вы кто и вот почему... Твой же герой, – ты сам, конечно, – среди общей грязи умудряется остаться чистеньким... Но других пересолил, себя обелил, – надул сам себя, но кого другого надул? И если ты можешь остаться чистеньким, то о чем же речь, – все прекрасно, значит, в этом лучшем из миров. Если бы ты имел мужество вскрыть действительно свое нутро, смог бы осмыслить его себе и другим... Скажи, Тёмка, что ты или я можем осмыслить другим? Мы, стукающиеся сами лбами в какой-то темноте друг о друга! Мы, люди несистематичного образования, мы в сущности нищие, подбирающие какие-то случайно, нечаянно попадающиеся нам под ноги крохи; мы, наконец, даже без опыта жизни, когда притом девяносто девять из ста, что и этот опыт окончательно пройдет бесцельно вследствие отсутствия какого бы то ни было философского обоснования...

По мере того как Корнев говорил, он краснел, жилы на его шее надувались, он смотрел своими маленькими зелеными глазами, впивался ими все злее в лицо Карташева и вдруг, сразу успокоившись, вспомнив вдруг Иванова, пренебрежительно, почти весело махнул рукой:

– Нет, мой друг! Какие мы писатели... И ко всему этому, какой талант нужен, чтобы все это было и не узко, и без всякой скучной морали, законно, было бы и вкусно, и понятно, и, наконец, настолько правдиво, чтобы с твоими выводами не мог не согласиться читатель.

– Какой читатель? Иванов может не согласиться, потому что ему тенденция нужна.

– Да какая там к черту тенденция: образование нужно... Есть писатели, на которых все мирятся... И рядом ты... У них, черт их знает, какой размах, и всякая тенденция занимает только свое место... а ты пошлялся с Шацким...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.